

Александр ЯНОВ

**РУССКАЯ ИДЕЯ
ОТ НИКОЛАЯ I ДО ПУТИНА**

1 Книга первая
1825–1917



Александр ЯНОВ

Русская Идея

**ОТ НИКОЛАЯ I
ДО ПУТИНА**

1 Книга первая
1825–1917

УДК XXX
ББК XXX
Я 641

Янов А. Л.

Я 641 Русская идея. От Николая I до Путина. Книга первая (1825–1917) — М : Новый хронограф, 2014. — 240 с.: ил.

ISBN XXX

Вот парадокс. Существуют истории русской литературы, русского искусства. И отдельно русской архитектуры, русской музыки. Есть, конечно, история социалистических идей в России. В общем, чего угодно история есть, вплоть до русской кухни. А вот истории Русской идеи нет.

УДК XXX
ББК XXX

ISBN XXX

© Янов А. Л., 2014

ОГЛАВЛЕНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	5
Глава 1	
ЕВРОПЕЙСКИЙ ВЫБОР РОССИИ	13
Что предложил России Чаадаев?	14
Что мешает России выучить урок?	16
Глава 2	
ДЕКАБРИСТЫ	20
О роли декабристов в истории	21
Зачем они вышли на площадь?	25
Момент истины	26
Глава 3	
САМОДЕРЖЕЦ	28
Самодержец и крестьянский вопрос	29
В ожидании революции	31
Зачистка тылов	33
Глава 4	
1848-й	36
«Дышит одною лишь войною»	37
Прорыв революции	39
Манифест	40
Реакция	41
Крушение мечты	42
Глава 5	
АНТИЕВРОПЕЙСКОЕ ОСОБНЯЧЕСТВО	44
Не тому подражали, Ваше величество!	45
«Похищение Европы»	47
Миф особнячества	50

Глава 6	
СЛАВЯНОФИЛЫ	52
Учителя и ученики	53
Из декабристской шинели?	54
Рождение национал-либерализма	55
Полуправда	58
Трагедия славянофильства	59
Глава 7	
«С ПЕЧАТЬЮ ГЕНИЯ НА ЧЕЛЕ»	61
«Лестница Соловьева»	62
Казус Достоевского	63
О «национальном эгоизме»	66
Нет пророка в отечестве своем	67
Глава 8	
ЛЕКСИКОН РУССКОЙ ИДЕИ	69
Идея-гегемон	70
Наполеоновский комплекс России	71
Вторичная сверхдержавность	73
Зачем лексикон?	74
Глава 9	
ПОСЛЕДНЯЯ ОШИБКА ЦАРЯ (часть первая)	78
Пролегомены	81
Пощечина «Джону Булю»	82
Интрига	85
Глава 10	
ПОСЛЕДНЯЯ ОШИБКА ЦАРЯ (часть вторая)	86
Реванш Русской идеи	89
«Пятая колонна»	91
Глава 11	
НЕЗАДАННЫЕ ВОПРОСЫ	97
О двух Россиях	99

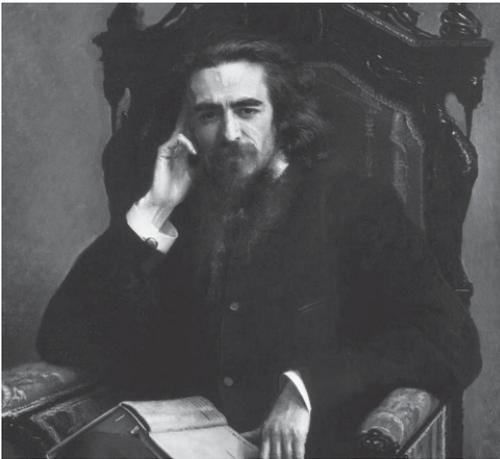
Глава 12		
	ТРОЙНОЕ ДНО ВЕЛИКОЙ РЕФОРМЫ	105
	Ожидания	106
	Второе дно	110
	Реформа	112
	Третье дно Великой реформы	115
	Заключение	116
Глава 13		
	ПАТРИОТИЧЕСКАЯ ИСТЕРИЯ	119
	«Убиение целого народа»	122
	«Мы спасли честь имени русского»	125
Глава 14		
	РАБОТАЯ НА БИСМАРКА	128
	Панславизм в действии	128
	Кому нужна была Балканская война?	129
	На пути к войне	130
	Война	131
	Итоги	134
Глава 15		
	РЕЖИМ СПЕЦСЛУЖБ И ЕВРЕЙСКИЙ ВОПРОС	136
	«Россия под надзором полиции»	136
	«Поворот на Германы»	138
	Облик грядущего	140
	Еврейский вопрос	142
	Ритм самодержавия	144
Глава 16		
	ТРАГЕДИЯ ПЕТРА СТОЛЫПИНА	146
	Подавление «охвостья»	147
	Путч	149
	Реформатор	152

Глава 17	
ПЛАН-19	156
Могла ли Россия не проиграть Первую мировую? ...	156
План-19	158
Козырной туз	161
Тихая смерть Плана-19	162
Глава 18	
КАТАСТРОФА	165
О планах спасения России	167
Ошибка Столыпина	169
План Розена	171
Глава 19	
МОГЛИ ЛИ БОЛЬШЕВИКИ НЕ ПОБЕДИТЬ В 1917-м? 174	
Немного истории	175
Двоевластие	177
Момент истины	179
Брусиловский прорыв	180
На разных языках	181
Приложение 1	
«ПРОСВЕЩЕННЫЙ НАЦИОНАЛИЗМ»	
ЛЬВА ГУМИЛЕВА	185
Приложение 2	
ЗАЧЕМ РОССИИ ЕВРОПА?	200
Приложение 3	
ЗАМЕТКИ ПОСТОРОННЕГО (М. Аркадьев)	230

ВВЕДЕНИЕ

Вот парадокс. Существуют история русской литературы, русского искусства. И отдельно русской архитектуры, русской музыки. Есть, конечно, история социалистических идей в России. В общем, чего угодно история есть, вплоть до истории русской кухни. А вот истории русского национализма нету. Ни в русской, ни в мировой литературе. Вероятнее всего потому, что он, русский национализм, всегда по какой-то причине избегал называться собственным именем. Предпочитал эвфемизмы («Русское дело», «Русский мир», «Русская идея», порою и вовсе именовал себя «патриотизмом»). Что ж, не стану и я нарушать вековую традицию. Просто выберу наиболее общепотребительный из эвфемизмов и посвящу свое исследование истории «Русской идеи». Пишу это, чтоб не утаить от читателя, что предшественников у меня не было.

Само собою разумеется, что под «Русской идеей» имеются здесь в виду не какие-нибудь метафизические ее свойства, волновавшие, допустим, Н. А. Бердяева, но лишь ее политический смысл, как понимался – и понимается – он ее собственными идеологами и критиками. Вот как описывал В. О. Ключевский



В. С. Соловьев



Н. М. Карамзин



Г. П. Федотов

зарождение этой идеи в Московии XVII века: «Она [Московия] считала себя единственной истинно правоверной в мире, свое понимание божества исключительно правильным, творца вселенной представляла себе русским богом, никому более не принадлежащим и неведомым». Религиозную оценку этой, зачатой в Московии, Русской идеи предложил В. С. Соловьев: он назвал ее «языческим особнячеством». Светскую ее версию описал А. И. Герцен, как «попытку России отрезаться от Европы». Уточняю во избежание разночтений.

Тем более странным представляется этот вакуум в исторической литературе, что лучшие из лучших русских умов XIX века, начиная от Петра Яковлевича Чаадаева и кончая тем же Владимиром Сергеевичем Соловьевым, были уверены, что именно оно, это антиевропейское особнячество, из столетия в столетие вело Россию от несчастья к несчастью. И что, покуда она с ним не покончит, не избавиться ей от несчастья и в будущем. Мы увидим в книге, почему они были в этом уверены.

Нет спора, они могли ошибаться. И большие умы, бывает, ошибаются. Проблема лишь в том, что история ПОДТВЕРДИЛА их предвидение (или, скажем по ученому, гипотезу). Действительно ведь вела страну Русская идея от несчастья к несчастью. Для людей, обученных научному мышлению, сомнений быть не может: гипотеза доказана, если подтверждена историей, то есть, если хотите, экспериментально. Ученые, однако, составляют исчезающе малое меньшинство народа. Вопрос в том, как доказать их правоту, если не его большинству, то, по крайней мере, образованному меньшинству?

Я уже давно смирился с тем, что трехтомная моя «Россия и Европа. 1462–1921», опубликованная в 2007–2009 годах издательством «Новый хронограф», исполнить эту задачу не сможет.

Да, я действительно попытался в ней подробно и документально показать, как на протяжении столетий подтверждала гипотезу Чаадаева история России. А также, что недоказанной оставалась она лишь потому, что властвовала над умами старая, карамзинская, если угодно, «национальная схема», по выражению Г. П. Федотова (парадигма на современном языке), русской истории. Потому и предложил в трехтомнике

принципиально новую ее парадигму. Все так. Но многие ли осилит двухтысячестраничную махину, отягощенную к тому же громоздким научным аппаратом? Из этого и исходит проект, который предлагаю я сейчас читателю.

Суть его, понятно, в том, чтобы попытаться сделать чаадаевскую гипотезу и ее доказательство доступными образованному меньшинству читателей в России. Но возможна ли ПОПУЛЯРНАЯ история Русской идеи? И если возможна, то как?

На протяжении многих месяцев мне выпала честь вести популярный курс истории Русской идеи на сайтах Дилетанта, Института современной России и Сноба (само собою, имею я в виду курс виртуальный: не лекций с кафедры, а очерков в Интернете). Драгоценен был этот курс немедленной обратной связью с читателями, возможностью ответить на их вопросы, спорить с ними, бывало и нелицеприятно, пытаться их убедить. Порою мне это удавалось. Естественно, понадобились в ходе этих споров аргументы, многие из которых попросту не приходили мне в голову во время многолетней одинокой, отшельнической по сути, работы над трехтомником.

Вот этот ничем не заменимый опыт общения с читателями, не отягощенный докучливым научным аппаратом (он остался в трехтомнике, так что заинтересованный читатель всегда может перепроверить цитаты и подробности) и, главное, живой, совершенно раскованный и непосредственный, и положил я в основу этой книги.

Не нужно быть Сократом, однако, чтобы догадаться, что всякая принципиально новая отрасль знания не может существовать без собственного, если хотите, языка, то есть без присущих только ей понятий и терминов. Не обойтись без этого даже при самом популярном ее изложении. Приходилось объяснять эти непривычные читателю понятия, прерывая время от времени хронологическое развитие сюжета. Я имею в виду такие понятия как «идея-гегемон», или «патриотическая истерия», или «фантомный наполеоновский комплекс», или «национальный эгоизм». Но тут уж ничего не поделаешь. Тем более что овчинка, как выяснилось, стоила выделки.

Я понимаю, что, если когда-либо и было время, более неподходящее для доказательства чаадаевской гипотезы, это

•

время сейчас, когда необычайный «патриотизм», под именем которого и предпочитала всегда оперировать Русская идея, возрождается по всему фронту и празднует в очередной раз победу над чаадаевским заветом. Кому, как не историку знать, однако, сколько уже раз она так за последние два столетия праздновала и каким горем оборачивалось ее торжество для страны. Историк знает, что медленнее, чем нам хотелось бы, но меняются времена, меняются режимы. И, главное, знает он, что, как всегда бывало в России, подрастает поколение молодых умов, для которых по-прежнему жив бессмертный девиз того же Чаадаева: **«Я не научился любить свою родину с закрытыми глазами, с преклоненной головой, с запертыми устами. Я думаю, что время слепых влюбленностей прошло, что теперь мы прежде всего обязаны отечеству истиной»**. На это моя надежда.

ЕВРОПЕЙСКИЙ ВЫБОР РОССИИ

Есть масса определений Русской идеи. Каждый волен выбрать ту, что ему по душе. Описывали ее суть, как видели мы во введении, и Владимир Сергеевич Соловьев, и Александр Иванович Герцен. Но определение ее выбрал я для своей книги – чаадаевское. Выбрал, несмотря на то, что в его время даже самого термина «Русская идея» еще не существовало. Вот что писал он в третьем Философическом письме: **«Скоро мы душой и телом будем вовлечены в мировой поток и, наверное, нам нельзя будет долго оставаться в нашем одиночестве. [Это] ставит нашу будущую судьбу в зависимость от судеб европейского сообщества. Поэтому чем больше мы будем стараться слиться с ним, тем лучше для нас».**



П. Я. Чаадаев

Яснее, я думаю, нельзя было в 1829 году сказать, что под Русской идеей понимал Чаадаев именно пропаганду обособления России от Европы, «ее ОДИНОЧЕСТВА в мировом потоке». Вот вам и определение. Высмеивал он тогдашних пропагандистов Русской идеи беспощадно: «мнимо-национальная реакция дошла у них до степени настоящей мономании... Довольно быть русским, одно это звание вмещает в себя все возможные блага, включая и спасение души». Пушкин согласился с определением своего старшего товарища: «Горе стране, – подтвердил он, – находящейся вне европейской системы».

Честно сказать, когда я впервые все это прочел, а было это, как понимает читатель, в достаточно нежном возрасте, у меня

перехватило дыхание. Как могли, думал я, руководители России – до революции и после нее – не уразуметь того, что было азбучно ясно Чаадаеву и Пушкину почти двести лет назад? А именно, что, оставляя свой народ «в одиночестве», «вне европейской системы», они, руководители страны, обрекают ее на горе? В этом ведь, собственно, и состояла чаадаевская гипотеза, которую предстоит нам в этой книге доказывать.

Я понимаю, что, с точки зрения сегодняшнего русского националиста, Чаадаев и Пушкин писали бог весть когда и потому представить себе не могли, что Европа со своей моральной «вседозволенностью» превратится через двести лет в мусульманскую помойку, в образец того, как НЕ НАДО жить; что украинцы с их европейским выбором просто дезертиры и предатели общего дела противостояния Европе и что вообще все это нонсенс. Проблема лишь в том, что, с точки зрения историка, дело обстоит прямо противоположным образом. Объясню почему.

Что предложил России Чаадаев?

В двух словах, постоянно действующий критерий, извините за академический жаргон, политической модернизации. В отличие от всех других форм модернизации (экономической, культурной, церковной) политическая модернизация, если отвлечься на минуту от всех ее институциональных сложностей, вроде разделения властей или независимого суда, означает нечто элементарное, понятное любому, включая, надеюсь, и русских националистов. А именно – ГАРАНТИИ ОТ ПРОИЗВОЛА ВЛАСТИ. И время ровно ничего изменить в этом критерии не может. Он и через 1200 лет будет столь же актуальным, как и во времена Чаадаева и Пушкина.

Тогда, во второй четверти XIX века, Европа была единственной частью политической вселенной, сумевшей этот произвол минимизировать. Нужен был, однако, без преувеличения гениальный прогностический дар, чтобы предугадать, что – несмотря на неизбежные откаты и регресс, наподобие Священного союза, несмотря даже на братоубийственные гражданские войны, на манер наполеоновских, – одна лишь Европа (и, конечно, ее ответвления, будь то в Америке или в Австралии) способна

САМОСТОЯТЕЛЬНО, то есть без чьей бы то ни было помощи довести свою политическую модернизацию до ума. Другими словами, полностью избавиться от произвола власти.

Чаадаев называл это, конечно, иначе. Европейской цивилизованностью он это называл. И приводил пример. «Есть разные способы любить свое отечество, – писал он, – самоед, любящий свои родные снега, которые сделали его близоруким, закоптелую юрту, где он скорчившись проводит половину своей жизни, и прогорклый олений жир, заражающий вокруг него воздух зловонием, любит свою страну, конечно, иначе, нежели английский гражданин, гордый учреждениями и цивилизацией своего славного острова; и без сомнения, было бы прискорбно для нас, если бы нам приходилось любить места, где мы родились, на манер самоедов». Попросту говоря, предвидел Чаадаев, что Европа – надежная лошадка. И она оправдала его прогноз, действительно, живет она в отличие от некоторых цивилизованно, без произвола власти. И этого никто у нее не отнимет.

Тем более трудно было это в его время предугадать, что два важнейших европейских сообщества – германское (начиная с тевтонофилов начала XIX века) и российское (начиная с Николая I) обнаружили отчетливую тенденцию ПРОТИВОПОСТАВЛЯТЬ себя остальной Европе как декадентскому Западу. Это с несомненностью обличало их, если можно так выразиться, политическую недостаточность или, если хотите, неспособность к самостоятельной политической модернизации.



У немцев не было своего Чаадаева. И германских мыслителей, сколько я знаю, выпадение их страны из «европейской системы» особенно не беспокоило. Ничего хорошего, однако, не обещала их беззаботность Германии. Не это ли имел в виду крупнейший из современных британских историков А. П. Дж. Тейлор, когда писал в 1945 году: «То, что германская история закончилась Гитлером, такая же случайность, как то, что река впадает в море»? И правда ведь, понадобились эпохальные поражения в двух мировых войнах, умопомрачительная разруха, голод, раздел страны между чужеземцами, чтобы Германия выучила урок – *никогда* не избавиться ей от произвола власти, покуда не покончит она с обособлением от Европы. Урок она, к чести своей, выучила, с антиевропейским особнячеством покончила и с Европой воссоединилась. И... забыла о своих несчастьях.

У России, однако, Чаадаев был. И разве меньшую цену заплатила она за обособление от Европы? Говорю я не только о вековом самодержавии, о советском терроре, о гражданской войне, о миллионах жизней, поглощенных ГУЛАГом, но и о том, что по сей день обречена она мириться с произволом власти, о котором Германия забыла, и с унижительной второсортностью своего быта, и с постоянной неуверенностью в завтрашнем дне, зависящем не от нее, а от мировых цен на ее сырье. И все-таки чаадаевского урока Россия не выучила. Почему не выучила, об этом позже. Сейчас главное:

Что мешает России выучить урок?

Я знаю – как не знать? – что и у нас, и в Европе выросла за столетия мощная индустрия мифотворчества, уверяющая публику, что Россия и Европа чужие друг другу, всегда были чужими и всегда будут. Даже принадлежат к разным цивилизациям. О русских националистах мы уже говорили и еще будем говорить. Важно, что и о Германии говорили то же самое. Вспомните хотя бы, как противились ее воссоединению – в Европе. Итальянский премьер Джулио Андреотти заявлял, что «с пангерманизмом должно быть покончено. Есть две Германии и пусть их останется две». Французский писатель Франсуа Мориак прославился жестоким *bon mot*: «Я люблю Германию

и не могу нарадоваться тому, что их две». Не все, конечно, соглашались с утверждением того же Тейлора, что «Германия как нация завершила свой исторический курс», но впечатление, что она **слишком большая, слишком опасная и, главное, чужая Европе**, было общераспространенным. И что осталось от этого впечатления сегодня?

Но послевоенная Германия, по крайней мере, хотела покончить со своим обособлением от Европы. Россия – в лице своих руководителей и националистической клики – НЕ ХОЧЕТ. Уверяет, что ВСЕГДА была «особым миром», почему и одержала, не в пример этой вшивой Европе, великую победу в Отечественной войне над той же Германией.

Погодите, однако. Поколение Чаадаева одержало в своей Отечественной войне еще более великую победу – над самим Наполеоном! Взяло Париж. Но «нет, тысячу раз нет, – писал Чаадаев, – не так мы в молодости любили свою родину... Нам и на мысль не приходило, чтобы Россия составляла какой-то особый мир». И мы ХОТЕЛИ стать частью, говоря его словами, «великой семьи европейской». Так откуда же это лживое «всегда были чужими» в устах сегодняшних русских националистов?

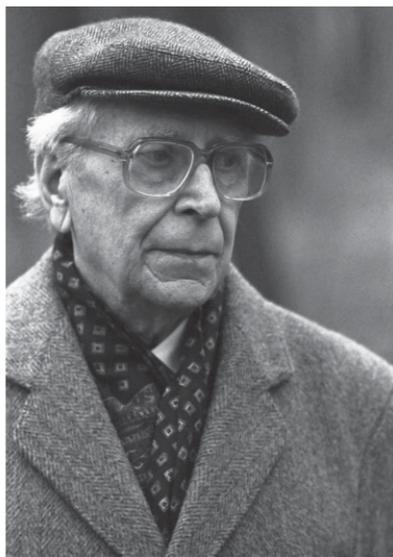
«Особенно же мы не думали, – продолжал Чаадаев, – что Европа готова снова впасть в варварство... Мы относились к Европе вежливо, даже почтительно, так как мы знали, что она выучила нас многому и, между прочим, нашей собственной истории». Ему все это представлялось само собой разумеющимся. Он с этим вырос и был в ужасе от бездны, в которую готовы были обрушить его страну «новые учителя» (националисты и впрямь были в его время внове).

В одном, впрочем, ошибся Чаадаев сильно. Он-то надеялся, что националистический морок рассеется скоро, едва продемонстрирует его губительность жизнь. «Вы повели все по иному, и пусть, – писал он, – но дайте мне любить свое отечество по образцу Петра Великого, Екатерины и Александра. Я верю, что недалеко время, когда признают, что этот патриотизм не хуже всякого другого». Далеко, увы, на самом деле было такое время, непредставимо далеко. Уже при Александре III, в 1880-е, вернейшему из последователей Чаадаева Владимиру Сергеевичу Соловьеву приходилось отчаянно протестовать

против «повального национализма, обуявшего наше общество и литературу». И голос его звучал в тогдашней России так же одиноко, как голос Чаадаева за полвека до этого. Как, боюсь, звучит и мой голос еще каких-нибудь 130 лет спустя. Не расценивается морок. Все тот же вокруг «повальный национализм». И происходящий из него произвол власти все тот же.

Я даже не об этнической пене, которая бьет в глаза, потому что на поверхности, я об официальном, имперском национализме в духе С. Ю. Глазьева, А. Г. Дугина или Н. А. Нарочницкой. На бесплодность его обратил внимание еще Соловьев, когда писал: «Утверждаясь в своем национальном эгоизме, Россия всегда оказывалась бессильною произвести что-нибудь великое или хотя бы просто значительное. Только при самом тесном внешнем и внутреннем общении с Европой русская жизнь действительно производила великие политические и культурные явления (реформы Петра Великого, поэзия Пушкина)».

Пропагандисты национального эгоизма оперируют не аргументами (о документах и говорить нечего), но расхожими прописями времен Чаадаева, вроде «мистического одиночества России в мире» или ее «мессианского величия и призвания».



Д. С. Лихачев

Понятно, почему, подменяя рациональную аргументацию туманным – виноват, не нашел более приличного слова, – бормотанием, эта эпигонская манера дискуссии провоцирует оппонентов на не вполне академическую резкость. Можно поэтому понять покойного академика Д. С. Лихачева, когда возражал он им так: «Я думаю, что всякий национализм есть психологическая aberrация. Или точнее, поскольку вызван он комплексом неполноценности, я сказал бы, что это психиатрическая aberrация».

В отличие от Дмитрия Сергеевича я не стану обижать певцов национального эгоизма подозрениями по поводу их душевного здоровья. Я лишь обращаю внимание читателей на окружающую их реальность, которой обязаны они Русской идее. Это ведь она, Русская идея, обрекла Россию на дурную бесконечность произвола власти, на любовь к родине «на манер самоедов». Обрекла, лишив ее европейской способности к САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ политической модернизации. Достаточно ведь просто задуматься, почему Германия, едва воссоединившись с европейским сообществом, эту способность обрела, а Россия – при всех (!) режимах – не может.

Я подчеркиваю, что не обрела Россия способность к политической модернизации ни при Александре III, ни при Ленине, ни при Сталине, ни при Брежневе, ни при Ельцине, ни при Путине, все ведь, кажется, перепробовала, но не обрела. Так не пора ли вспомнить о гипотезе Чаадаева? О том, что НИКОГДА не обретет ее Россия, не избавившись от Русской идеи?

* * *

Диву даешься, когда видишь, что вспомнили о чаадаевском уроке не в Москве, а в Киеве. И неожиданно оказалось, что способен он, этот европейский выбор (и как еще способен!), вдохновить и мобилизовать не только политиков, но и страну! А ведь именно в нем и содержится, если верить величайшим русским умам всех времен, Чаадаеву, Пушкину, Соловьеву, ответ на поставленный здесь вопрос: что мешает России выучить судьбоносный урок европейской истории? Тем более выглядит это странно, что сформулирован-то был этот ответ в свое время не в Киеве, а именно в Москве. И именно для России.



А. Г. Дугин

Глава 2

ДЕКАБРИСТЫ

Парадоксально, наверное, начинать популярную историю Русской идеи с декабристов, ни сном ни духом к ней непричастных. Но без них, боюсь, тоже не обойтись. Это ведь все равно, как если бы начать историю путинизма, не упомянув полную надежд и веселой дерзости гласность конца 1980-х. Контраст исчез бы. Помните слова Чаадаева: «Не так, тысячу раз не так любили мы в молодости свою родину». Не так, имел он в виду, как русские националисты. Тем более уместен здесь этот чаадаевский контраст, что, судя по читательской почте, не любят сегодня в России декабристов, сильно не любят. Может быть, из-за надоевшего школьного «декабристы разбудили Герцена» (которого тоже, кстати, не любят)? А может быть, просто не знают о них ничего, кроме того, что они были против царя, а советская пропаганда превозносила их до небес? Не знаю почему. Но знаю, что разобраться в этом нужно.

Нет, не защитить декабристов, Боже упаси, только разобраться. Постоять за себя они могли и сами. Как смогли Пушкин или Михаил Лунин, эти «декабристы без декабря» (в узком смысле



Сенатская площадь 14 декабря 1825

так называли в их время людей этого круга, которые по разным не зависящим от них причинам не участвовали в восстании, но без колебаний признали, что «при других обстоятельствах действовали бы в духе оногo»). В широком смысле «декабристами без декабря», то есть сочувствующими, были тогда практически все русские европейцы той эпохи. Что до тех, кто вышел на площадь, то довольно вспомнить уцелевшую записку подполковника Гаврилы Батенкова, переданную из Петропавловской крепости в ожидании смертного приговора: «Наше тайное общество состояло из людей, которыми Россия всегда будет гордиться. Чем меньше их было, тем больше их слава. При таком неравенстве сил голос свободы мог звучать в России лишь несколько часов, но как же прекрасно, что он прозвучал!» Или вот, пожалуй, этот неожиданно трогательный пункт из проекта конституции Никиты Муравьева: «Раб, прикоснувшийся к российской земле, становится свободным человеком».

Впрочем, вполне понять, что означает этот знаменитый пункт, можно, лишь ознакомившись с запиской Михаила Михайловича Сперанского (адресованной, между прочим, его величеству императору всероссийскому Александру I). Вот отрывок, познакомьтесь: «Вместо всех нынешних разделений свободного народа русского на свободнейшие классы дворянства, купечества и проч., я вижу в России лишь два состояния – рабы государевы и рабы помещичьи. Первые называют себя свободными только по отношению ко вторым, действительно свободных людей в России нет, кроме нищих и философов... Если монархическое правление должно быть нечто более, чем призрак свободы, то мы, конечно, не в монархическом еще правлении». Не в Европе, другими словами. Теперь и судите, что мог означать этот пункт в муравьевской конституции. Не то ли, что невыносимо стыдно было уважающему себя человеку жить в стране рабов?

О роли декабристов в истории

Правы ли были славянофилы, полтора десятилетия спустя обвинившие в декабристском мятеже Петра? И проклявшие его за то, что довелось им родиться в разодранной надвое «стране

рабов, стране господ», где две эти страны как два непримиримых мира противостояли друг другу (я не преувеличиваю насчет славянофильского проклятия, вспомните хотя бы стихи Константина Аксакова, адресованные Петру: «И на твоём великом деле печать проклятия легла»). Думаю, они были и правы, и неправы.

Неправы в том, что роковой раскол страны начался не с Петра. Можно точно назвать дату – 1581 год, когда внук Ивана III, оставшийся в истории под именем Грозного царя, отменил его закон о Юрьевом дне, положив тем самым начало рабству подавляющего большинства населения России. Правы славянофилы были в другом: Петр действительно довершил дело, круто развернув меньшинство лицом к Европе и оставив остальных прозябать в московитской неволе и архаике. Россия и впрямь оказалась после Петра в сумерках полу-Европы, где меньшинство постепенно превращалось в русских европейцев, а большинство продолжало жить в средневековье.

Так и разверзлась пропасть между двумя Россиями (непреодоленная до конца, увы, и в наши дни), каждая из которых жила в собственном временном измерении. В одной из них, по выражению того же Сперанского, «открывались академии, а в другой народ числил чтение грамоты между смертными грехами». Одна удивляла мир величиим своей культуры, а другая... Но мне не сказать лучше Герцена: «В передних и девичьих схоронены целые мартирологи страшных злодейств, воспоминание о них бродит в душе и поколениями назревает в кровавую и страшную месть, которую остановить вряд возможно ли будет».

Короче, столетие спустя после Петра (он умер в 1725-м) перед Россией, как перед ее былинными богатырями, открывались три пути. Она могла вернуться к допетровской московитской архаике (этот путь отстаивали славянофилы), она могла довести до ума дело Петра – освободить большинство, форсировать его просвещение и стать таким образом Европой (ради этого вышли на площадь декабристы), но могла и «тянуть резину», оставаясь разорванной надвое полу-Европой, до самого дня кровавого катаклизма, предсказанного Герценом. То есть до дня, когда проснувшееся «мужицкое царство» сметет эту

вторую Россию вместе с ее великой европейской культурой. Выбор пути на столетие вперед, судьба петровской России – вот что на самом деле решалось на Сенатской площади 14 декабря 1825 года.

Декабристы были трагически не готовы к этому дню (как чаще всего, заметим в скобках, случается с реформаторами России и как, боюсь, случится опять после Путина). Не они выбрали день, он выбрал их. Но он настал – и они вышли на площадь. Иван Пущин объяснил впоследствии: «нас по справедливости назвали бы подлецами, если бы мы пропустили этот единственный случай». Был ли у них шанс на успех, пусть даже временный? Большинство историков уверено, что нет. Исключений я знаю два.

Первым был Герцен. «Что было бы, – спрашивал он, – если б заговорщики вывели солдат не утром, а в полночь и обложили бы Зимний дворец, где ничего не было готово? Что было бы, если б, не строясь в каре, они утром всеми силами напали на дворцовый караул, еще шаткий и не уверенный в себе?». И заключал: «Им не удалось, вот все, что можно сказать, но успех не был безусловно невозможен». Похожий сценарий предложил Н. Я. Эйдельман: «Восставшие лейб-гренадеры могли бы без труда завладеть дворцом». И главное, «в случае хотя бы временного захвата столицы были бы изданы важные декреты – о конституции, о крестьянской свободе – что, конечно, имело бы значительное влияние на историю... бывало, осуществлялись и куда менее вероятные события, например, «Сто дней» Наполеона, которые могли быть пресечены случайной пулей сторонника Бурбонов».

Действительная роль декабристов в русской истории не сводится, однако, к успеху или неудаче восстания. Она двояка. Во-первых, они сумели сделать преодоление раскола, воссоединение страны экзистенциальной проблемой петровской России. Никто после них не посмел бы ее игнорировать. Даже сам Николай I, отправивший их на виселицы и в каторжные норы. Да-да, и он вынужден был публично признать, что «крепостное право у нас есть зло для всех ощутительное и очевидное». Царь, правда, тут же добавил, что «в настоящую эпоху всякий помысел [о его отмене] был бы не что иное, как

преступное посягательство на общественное спокойствие и на благо государства». Но декабристского определения «зла» обратно не взял.

Во-вторых, правы декабристы были и в своем прозрении, что освобождение крестьян руками «рабов государевых» приведет лишь к смертельному углублению раскола страны. Решение проблемы требовало освобождения от рабства всех, «сверху донизу», как признал впоследствии Н. Г. Чернышевский. Требовало, другими словами, отмены самодержавия, тоже, если хотите, рабства – для русских европейцев. Как бы то ни было, все столетие, которое оставалось еще после них петровской России до уничтожившего ее катаклизма, посвящено было осуществлению декабристского сценария – от освобождения крестьян в феврале 1861 года до отмены самодержавия в феврале 1917-го.

Только случилось все это слишком поздно, безнадежно поздно. Россия могла быть сегодня великой европейской державой вместо периферийной нефтегазовой колонки, осуществись декабристский сценарий, если не в 1825-м, то хотя бы в 1855-м, в первую эру ее гласности, когда не было уже нужды ни



Н. М. Муравьев



А. С. Пушкин

в тайных обществах, ни в военных пронунциаменто. Так или иначе, декабристы были пророками судьбы петровской России. В этом их действительная роль в русской истории. И эту роль никто у них не отнимет.

Зачем они вышли на площадь?

Их палачи приложили немало усилий к тому, чтобы опорочить их память, очернить, заподозрить во всякого рода низменных мотивах. Десятки мифов были для этого созданы. И как же печально, что, не задумываясь, повторяют их сегодняшние читатели! Несмотря даже на то, что одного простого соображения было бы, казалось, достаточно, чтобы их опровергнуть. Я говорю о том, что в большинстве декабристы были знатные и в высшей степени благополучные люди, многие прошли от Бородино до Парижа, своими глазами увидели, что в Европе обходятся без рабства – как «государева», так и помещичьего. Иные были сыновьями сенаторов, губернаторов, даже министров. Короче, беспокоиться о карьере большинству декабристов нужды не было.

С другой стороны, это не были шалопаи, «золотая молодежь». Вспомните хотя бы пушкинский портрет Чаадаева: «Он в Риме был бы Брут, в Афинах Периклес». Серьезные люди. Светские. Не фанатики какие-нибудь. Так зачем пошли они на смертельный риск? Ведь закончиться дело могло виселицей, для некоторых и закончилось? Или в «лучшем» случае – полуманной жизнью, пожизненной каторгой?

Заметьте, что ни изобретатели «позорящих» декабристов мифов николаевских времен, ни их сегодняшние потребители никогда этого главного, решающего вопроса не касаются, так, по мелочи подкалывают, ёрничают. Упрекают, допустим, в лицемерии, бунтовали, мол, вроде бы во имя крестьянской свободы, а сами своих крестьян не освободили. Отвечу серьезно. Да, александровский закон о «вольных хлебопашцах» действительно давал помещикам возможность при желании отпускать своих крестьян на волю. Но было это большой редкостью, сопряжено с множеством бюрократических препон, тотчас становилось достоянием прессы, следовательно, и полиции.

Хороши, право, были бы конспираторы, займись они всем кагалом (по декабристскому делу было обвинено все-таки 579 человек) столь публичным саморазоблачением.

Или вот упрек, что был среди них, как во всяком большом коллективе, свой *enfant terrible*, полковник Пестель, с его незаконченной «Русской правдой» и проектом временной революционной диктатуры. Издевка состоит в том, что, говоря о декабристах, ссылаются почему-то исключительно на Пестеля, словно бы он и впрямь был воплощением их движения. И умалчивают при этом, что большинство участников взглядов Пестеля не разделяло, что авторы обоих законченных проектов конституции – Сергей Трубецкой и Никита Муравьев – ратовали за конституционную монархию и за федерацию, а не за унитарную империю, тем более не за диктатуру. И уж точно в случае успеха не «Русская правда» была бы обнаружена победителями.

У меня нет здесь возможности всерьез говорить обо всей массе подколок и передержек, которыми оперируют сегодняшние недоброжелатели декабристов, повторяя своих николаевских учителей. Довольно, я думаю, и этих примеров, чтобы получить о них представление. Важно не это, важно, что не приходит недоброжелателям в голову самое простое, самое очевидное из объяснений, о котором буквально кричит приведенный выше пункт конституции Муравьева: этим людям **БЫЛО СТЫДНО ЗА СВОЮ СТРАНУ**. Невыносимо стыдно за то, что в России, победительнице Наполеона, «свободных людей (вспомним записку Сперанского), кроме нищих и философов, нет». Вот этот стыд и назвал впоследствии Владимир Сергеевич Соловьев истинным патриотизмом. И куда он, этот стыд, у сегодняшних читателей подевался?

Момент истины

Но заговорил я о декабристах, конечно, и по другой причине. Если мы хотим точно зафиксировать момент, когда патриотизм в русской жизни был подменен национальным самодовольством от того, что отечество такое большое и грозное, то вот он – первое десятилетие после их разгрома. Что должно было

наступить в стране, когда из нее вынули душу, «все, что было в тогдашней России талантливого, образованного, благородного и блестящего», по словам Герцена? Что, если не глубочайший идейный вакуум, духовное оцепенение, пустота?

«Первое десятилетие после 1825 года было страшно не только от открытого гонения на мысль, но и от полнейшей пустоты, обличившейся в обществе. Оно пало, оно было сбито с толку и запугано. Лучшие люди разглядывали, что прежние пути вряд ли возможны, новых не знали». Не только в том было дело, что «говорить было опасно», но и в том, что «сказать было нечего». Всем, кроме власти. Она и заговорила – громко, отчетливо, бесцеремонно. Из бездны духовного оцепенения поднялся монстр, призванный заменить интимное пушкинское ЧУВСТВО «любви к отеческим гробам» публичной ИДЕОЛОГИЕЙ «государственного патриотизма».

Отныне любовь к отечеству ставилась под контроль власти. Крепостное право и самодержавие (объяснялось) – это просто наша национальная особенность. Не стыдиться надо особенностей своей страны, а гордиться ее величием. Да, с трогательной прямоотой признавался теперь хозяин земли русской: **«деспотизм еще существует в России, так как он составляет сущность моего правления, но он согласен с гением нации»**. Не уверен, требует ли это комментария. Скажу лишь, что так выглядела заря Русской идеи.

САМОДЕРЖЕЦ

Мы видели, как поражение декабристов сняло с повестки дня европейский выбор петровской России, включая вопрос о воссоединении расколотовой страны. Немедленные последствия были устрашающими. Даже помыслы об отмене крепостного рабства стали отныне «преступным посягательством на общественное спокойствие». Само просвещение, если верить знаменитому историку С. М. Соловьеву, «оказалось преступлением в глазах правительства». В дальней перспективе было очевидно, по крайней мере, проницательным людям, как Чаадаев или Соловьев, что такой курс, если правители страны его вовремя не изменят, неминуемо обрекал петровскую Россию на смертельный катаклизм, напророченный, как, я надеюсь, помнит читатель, Герценом.

Обрекал на то, иначе говоря, что на декабристские вопросы ответят совсем другие люди. Те самые, в ком «поколениями назревала кровавая беспощадная месть». И на уме у них будут не конституционная монархия и просвещение народа, как у декабристов, а кровь. Вот образец, если кто забыл: «Кровью народной залитые троны кровью мы наших врагов обогрим. Смерть беспощадная всем супостатам, всем паразитам трудящихся масс».



Николай I

Все так. Но столетие – длинный перегон. История не торопилась, словно давая новым постановщикам старой драмы время одуматься, осмыслить ошибки своих предшественников, переиграть игру. Словно не хотела история трагического финала. Но – не переиграли игру новые режиссеры. Пытались – и в 1860-е и в 1900-е, – но останавливались на полдороге. Что-то мешало. Тем не менее забота историка, как и драматурга, в том, чтобы развернуть перед зрителем (читателем) эту вековую драму сцену за сценой со всеми их перепетиями, даже если оба знают финал. Зачем? – спросите вы. Затем, что трагедией петровской России старая драма не завершилась. Затем, что история все еще дает шанс новым ее постановщикам, то есть на этот раз нам с читателем, осмыслить ошибки предшественников, обнаружить в них то, что мешало им переиграть игру и попытаться их, эти ошибки, не повторить. Но для этого мы должны их знать.

Как бы то ни было, пока что мы в решающей точке драмы петровской России. И время присмотреться ко второму главному ее герою, победителю декабристов, которому предстояло стать постановщиком долгой, затянувшейся на целое поколение сцены. Скажу сразу: Николай I не был Скалозубом, как принято его изображать. И «человеком чудовищной тупости», как характеризовал его Тютчев, не был он тоже. Скорее он, не смотря на свою репутацию решительного солдата, напоминает человека, навсегда растерявшегося в слишком сложной для солдата ситуации. И слишком уж часто он сам себе противоречил. Царствование его поэтому оказалось бесплодным, своего рода «черной дырой» в истории (прав был мой покойный коллега по кафедре в университете Беркли, известный американский историк Н. В. Рязановский, когда писал, что «Россия так и не навестила тридцать лет, потерянных при Николае»). Вот пример.

Самодержец и крестьянский вопрос

Отдадим ему справедливость, в отличие от большинства своих министров Николай был действительно потрясен картиной помещичьего беспредела, которую развернули

перед ним на следствии декабристы. И тотчас поручил делопроизводителю следственной комиссии Боровкову составить из их показаний систематический свод, с которым не расставался до конца своих дней. Известно, что председатель комитета министров В. П. Кочубей говорил Боровкову: «Государь часто просматривает ваш любопытный свод и черпает из него много дельного». Более того, копия этого свода дана была секретному комитету 6 декабря 1826 года с наставлением «извлечь из сих сведений возможную пользу при трудах своих».

То был первый из шести, как думал В. О. Ключевский, из девяти, как полагал великий знаток крестьянского вопроса В. И. Семевский, или даже из десяти, как вычислил американский историк Брюс Линкольн, секретных и весьма секретных комитетов, которым было строжайше предписано найти способ покончить с произволом помещиков, как со слов декабристов описал его Боровков: **«Помещики неистовствуют над своими крестьянами, продавать в розницу семьи, похищать невинность, развращать крестьянских жен считается ни во что и делается явно, не говоря уже о тягостном обременении барщиною и оброками».**

Министры понимали, что покончить с произволом в деревне можно лишь одним способом, а именно тем, что предложен был декабристами. Не приставишь же к каждому помещику жандарма! Но даже помыслить об этом предложении было им запрещено: поскольку это было бы, как мы уже знаем, «преступным посягательством на благо государства». И оба полностью отрицающих друг друга приказа отданы были одним и тем же человеком. Мудрено ли, что «труды» всех этих комитетов окончились пшиком? За тридцать лет! Вот из таких неразрешимых противоречий и соткано было все царствование нашего самодержца.

Закончиться хорошо оно поэтому не могло, с самого начала было, если хотите, беременно катастрофой. А имея в виду тогдашний статус России как европейской сверхдержавы, катастрофа эта должна была стать внешнеполитической. В двух словах, предстояло нашему неудачливому самодержцу этот статус угробить. Но случилось это не сразу.

В ожидании революции

Ирония была в том, что и этой катастрофой обязан был самодержец декабристскому восстанию. Точнее тому, как он его себе объяснил. Тут, впрочем, никакой загадки нет. Как еще мог объяснить его самодержец, если не «безумием наших либералов»? И в том, что истоки этого безумия – на Западе, было для него во второй четверти XIX века так же очевидно, как и для наследников его дела во втором десятилетии XXI.

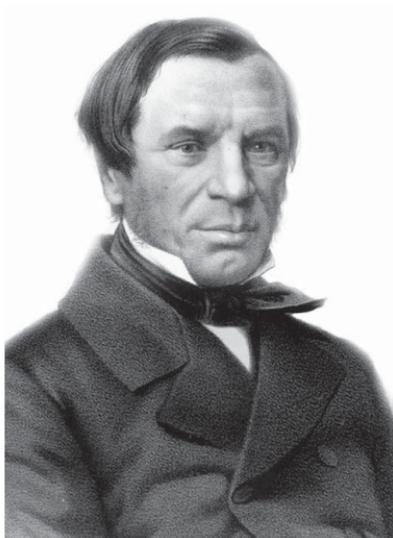
Но в отличие от них получил в наследство наш самодержец не периферийную нефтегазовую колонку, а грозную сверхдержаву, перед которой трепетала Европа. А это само собою предполагало, что одним лишь закручиванием гаек в разболтавшейся и до безобразия вестернизированной в александровские времена России дело не ограничится. Неизбежно замаячит перед ним и континентальная задача по искоренению либерального безумия в самом его логове, в «загнивающей» Европе (иначе, чем загнивающей, и не представляли ее себе в националистических кругах постдекабристской России). Не было ни малейшего шанса, что она сама справится с порожденным ее же моральной «вседозволенностью» либеральным безумием, которое, как хорошо знал самодержец, чревато революцией.

Справиться с этой назревающей европейской революцией могла только могущественная Россия. И ее самодержец. Справился же он со своими декабристами. А уж с европейскими-то... Тем более что, как убеждали самодержца националистические идеологи, нет для него ничего невозможного. Вот образец тогдашней националистической риторики: «Спрашиваю, может ли кто состязаться с нами и кого не принудим мы к послушанию? Не в наших ли руках судьба мира, если только мы захотим решить ее? Что есть невозможного для русского Государя?.. Пусть выдумают ему какую угодно задачу, хотя подобную той, кои предлагают в волшебных сказках. Мне кажется, нельзя изобрести никакой, которая была бы для него трудна, если бы только на ее решение состоялась его высочайшая воля».

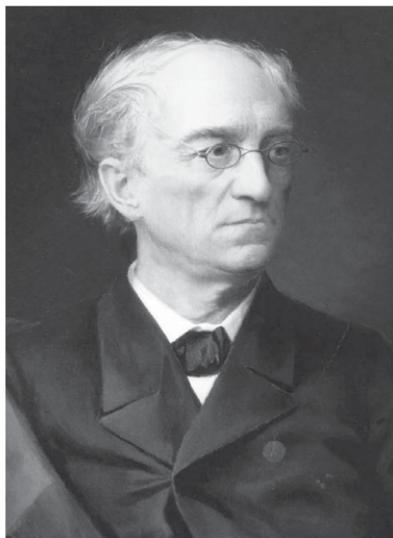
Это Михаил Петрович Погодин, хорошо известный как историк России и совсем не известный как влиятельнейший в свое время идеолог. Мы не раз еще с ним встретимся

и – настанет час – услышим из его уст совсем другие песни. Важно лишь, что в 1840-е славословия Погодина совершенно совпали с представлением о роли России в мире и с характером самого царя. Он был тщеславен, наш самодержец, и отчаянно завидовал славе покойного брата. При всех их различиях в одном сыновья Павла I были похожи, как близнецы. А именно в том, что снискать бессмертную славу и вечную благодарность потомков русский царь может только на европейской арене.

Старший, Александр, добился своего, загнав Наполеона на остров Св. Елены. Святейший синод, Государственный совет и Сенат пожаловали его за это титулом Благословенного. Подобострастные коллеги по Священному союзу именовали его не иначе как Агамемноном Европы. У младшего, Николая, своего Наполеона не было. В его время место великого корсиканца заняла в качестве «возмутителя спокойствия» европейская революция (она же источник либерального безумия в России). И потому единственной для Николая возможностью сравняться славою с покойным братом (и в то же время положить конец либеральной заразе) было сразиться с революцией, как Александр с Наполеоном, – и победить ее. Тогда уж он, во всяком



М. П. Погодин



Ф. И. Тютчев

случае, не меньше брата, мог бы претендовать на звание Агамемнона Европы.

Федор Иванович Тютчев – классик русской поэзии. Менее известно, что в свободное от стихов время подвизался он, как и Погодин, на ниве откровенно националистической идеологии. Вот как сформулировал он для самодержца эту соблазнительную задачу: «в Европе только две действительные силы, две истинные державы – Революция и Россия. Они теперь сошлись лицом к лицу и завтра может быть схватятся. Между тою и другою не может быть ни договоров, ни сделок. Что для одной жизнь, для другой смерть. От исхода этой борьбы зависит на многие века вся политическая и религиозная жизнь человечества».

Бенкендорф, который нашел формулировку Тютчева замечательно точной, обещал передать его Записку в собственные руки самодержца и как человек обязательный – все-таки шеф жандармов – исполнил свое обещание. Короче, в начале 1844 года Записка Тютчева, по свидетельству И. С. Аксакова, «была читана Государем, который по прочтении ее сказал, что “тут выражены все мои мысли”». Таким образом, вопрос о «собственном Наполеоне» был для нашего самодержца практически решен, смертельная схватка «двух истинных держав» – в повестке дня. Оставалось ждать европейской революции.

Зачистка тылов

А пока что требовалось зачистить тылы так основательно, чтобы, когда грянет час X, ничто в России не помешало сосредоточить все силы на главном, на том, чтобы, по выражению самого самодержца, «раздавить революцию в Европе». Удалась ему эта зачистка превосходно: в 1848-м, когда воспламенился, казалось, весь континент, мертвая тишина царила даже в вечно мятежной Польше. Основное, впрочем, сделано было еще в 1830-е: от истоков либерального безумия страна уже была отрезана, Россия стала первой – и единственной в ту пору – страной с государственной идеологией.

Сформулирована она была тогдашним министром народного просвещения С. С. Уваровым лапидарно и эффектно:

Православие, Самодержавие, Народность. Отныне все, что писалось и говорилось в России, должно было исходить и поверяться этой триадой, оставшейся в истории с легкой руки известного литературоведа А. Н. Пыпина под именем «официальной народности». С этого «государственного патриотизма», основанного, по мнению Уварова, на традиционных ценностях России, противостоящих западной распущенности, собственно, и начинается история Русской идеи. Иначе говоря, **моральное обособление России от Европы.**

Как бы то ни было, Министерство народного просвещения было преобразовано в ведомство по охране и распространению традиционных ценностей. И все это довершалось цензурой – несопоставимой по своей монументальности ни с какой другой в тогдашнем мире. Тут карты в руки академику А. В. Никитенко, знавшему предмет из первых рук, сам был цензором: «Итак, сколько у нас цензур. Общая цензура Министерства народного просвещения, Главное управление цензуры, Верховный негласный комитет, цензура при Министерстве иностранных дел, театральная при Министерстве императорского двора, газетная при почтовом департаменте; цензура при III отделении собственной е. и. в. канцелярии... Я ошибся, больше. Еще цензура по части сочинений юридических при II отделении собственной е. и. в. канцелярии и цензура иностранных книг. Всего 12... Если посчитать всех лиц, заведующих цензурой, то их окажется больше, чем книг, издаваемых в течение года».

Пойди прорвись через такую сеть европейское либеральное безумие! Но если сложить все это вместе, от официальной народности до приоритета традиционных ценностей и цензуры, то прав, похоже, академик А. Е. Пресняков, что «Россия и Европа сознательно противопоставлялись друг другу как два различных культурно-исторических мира, принципиально разных по основам их политического, религиозного, национального быта и характера». Настоящая цена всем этим николаевским нововведениям выяснится, однако, лишь впоследствии, когда окажется, что посеять в национальном сознании антиевропейское особнячество можно сравнительно быстро (особенно если в роли сеятеля выступает всемогущая администрация

самодержавного режима), но и двух столетий не хватит, чтобы от него избавиться.

Но наш самодержец был перфекционистом. Довести страну до кондиции означало для него погрузить ее в состояние абсолютного патернализма. Такое состояние трудно описать. Три десятилетия спустя попытался это сделать Н. А. Любимов, редактор вполне реакционного «Русского вестника». Получилась сатира в духе Щедрина. И все же, кажется, она точнее аналогичной попытки талантливого и прогрессивного Глеба Успенского. Описание Успенского можно найти в первом томе его сочинений, но вот как выглядит состояние абсолютного патернализма у Любимова: «обыватель ходил по улице, спал после обеда в силу начальнического позволения. Приказный пил водку, женился, плодил детей, брал взятки по милости начальнического снисхождения. Воздухом дышали потому, что начальство, снисходя к слабости нашей, отпускало в атмосферу достаточное количество кислорода. Военные люди, представители дисциплины и подчинения, считались годными для всех родов службы, и телесные наказания полагались основой общественного воспитания».

Самое интересное, однако, что самодержец своего добился. В ближайших главах мы увидим, что из этого получилось – для России и для него самого.

Глава 4

1848-й

Креволюции Николай, как мы уже говорили, относился неоднозначно. С одной стороны, она его пугала, как всякого нормального человека пугает массовое безумие, неизвестно почему, полагал он, охватывающее вполне вроде бы здравомыслящих людей. С другой стороны, однако, он дождался ее не мог, чтобы не сказать, мечтал о ней. В особенности после того как Тютчев облек в слова его пусть неясное, но очень давнее желание. Да, победе над революцией в Европе предстояло стать его звездным часом. Не говоря уже о том, что она должна была подтвердить сверхдержавный статус России: в конце концов, это была бы первая после победы над Наполеоном реальная возможность продемонстрировать, кто на континенте хозяин.



На берлинских баррикадах. 19 марта 1848

«ДЫШИТ ОДНОЮ ЛИШЬ ВОЙНОЮ»

Так или иначе, в конце февраля этого рокового года ОНА пришла. Началось, как всегда, во Франции. Свергли короля, объявили республику. И как ее ни ждали, все равно пришла она неожиданно. «Нас всех как громом поразило, – записывал в дневнике великий князь Константин Николаевич. – У Нессельроде от волнения бумаги сыпались из рук. Что же будет теперь, один Бог знает, но для нас на горизонте видна одна кровь». В том, что первый порыв Николая был воевать, сомнений быть не может, свидетельств больше чем достаточно.

Барон Корф записывал по горячим следам 22 февраля: «Император дышит самым восторженным героическим духом и одною лишь войною. К весне, – говорил он, – мы сможем выставить 370 тысяч войска, с этим придем и раздавим всю Европу». Великий князь Константин подтверждает: «У нас приготовления к войне идут с невероятной деятельностью. Все кипит». 24-го Николай пишет в Берлин королю Фридриху-Вильгельму IV, убеждая его выступить против революционной Франции: «Вы с вашими на севере, Ганновер, Саксония, Гессен, а Вюртембергский король с остальными и Баварией на юге. Через три месяца я буду за вами с 300 тысячами солдат, готовых по вашему зову вступить в общий строй между вами и Вюртембергским королем».

Николай, как видим, собрался воевать *прошлую* войну с французской революцией. Тогда, в конце XVIII века, Франция стояла одна против всей монархической Европы, и дело было лишь затем, чтобы толком организовать антифранцузскую коалицию – на английские деньги. Именно поэтому так беспокоила его позиция Англии. «Я с беспокойством жду, – писал он того же 24 февраля в Вену Меттерниху, – решения Англии. Ее отсутствие в наших рядах было бы прискорбно». Тут, однако, ожидала царя первая нестыковка. Англия не только отказалась вмешиваться во французские дела, но и ему не советовала: денег, другими словами, не ждите.

Неделю спустя выяснилось совсем уже неприятное: французская революция стремительно перерастала в общеевропейскую (по тем европоцентричным временам, если хотите,

в мировую). Одно за другим малые германские государства, а за ними и вчерашние союзники царя, Пруссия и Австрийская империя, призывали либеральные правительства, обещая своим народам, подумайте только, конституцию! Ирония истории в том, что полвека с лишним спустя повторил ошибку царя (с обратным, конечно, знаком) Ленин, совершенно уверенный, что революция 1917-го развернется в мировую – именно по образцу прошлой, той самой «весны народов», как называли в 1848 году то, что происходило на глазах у ошеломленного Николая.

И так же, как впоследствии Ленин, царь был обескуражен и растерян. Вся картина менялась кардинально. В конце февраля планировал он изолировать революционную Францию, а в начале марта наглухо изолированной оказалась самодержавная Россия (так же как, продолжим аналогию, изолированной оказалась в 1917-м революционная Россия. Еще любопытнее, однако, неправдоподобные метамозы в российской позиции. В царские времена она, как видим, была бастионом контрреволюции, в советские стала оплотом революции, в постсоветские опять превращается в знаменосца контрреволюции, столь же



К. Меттерних



К. В. Нессельроде

страстного, как была при Николае. Но объяснение этого парадокса у нас еще впереди. Пока что мы в 1848-м).

Прорыв революции

2 марта великий князь Константин записывал в дневнике: «Препоганые известия из Неметчины, всюду беспорядки, а государи сидят сложа руки». Я не знаю, какие именно события имел он в виду, но знаю, что 1 марта в Бадене и в Нассау, а 2-го – в Гессен-Дармштадте к власти пришли либеральные правительства. 6 марта начались баррикадные бои в Мюнхене, закончившиеся две недели спустя отречением баварского короля Людвига I в пользу сына Максимилиана II, сочувствовавшего конституции. О чем тоже есть запись в дневнике Константина: «Вот голубчик! Вот молодец! То есть его прямо надобно расстрелять!».

6-го же марта призвал к власти либеральное правительство Вюртембергский король. 7-го Константин записывал: «Предурные известия из Неметчины, революционная зараза всюду!». 13 марта начались столкновения восставшего народа с войсками в Берлине (пять дней спустя они завершились победой восставших). Король согласился на все их требования вплоть до того, говоря словами возмущенного таким безобразием Константина, что «дал свободу книгопечатания». В тот же день из бунтующей Вены бежал Меттерних. За день до этого находим в дневнике: «пришло телеграфическое известие из Вены, что там тоже беспокойство и вследствие этого вся Австрийская империя получит конституцию! Итак, мы теперь стоим одни во всем мире и одна надежда на Бога». И 13 марта: «Все кончилось в Европе, и мы совершенно одни».

В начале марта царь еще храбрился: «ежели король прусский будет сильно действовать, – писал он 2-го своему главнокомандующему князю Паскевичу, – все будет еще возможно спасти, в противном случае придется нам вступать в дело». И 10 марта: «при новом австрийском правлении они дадут волю революции, запоют против нас в Галиции; в таком случае займу край и задущу замыслы». К концу марта, однако, даже Николай понял, что бессилён «задушить замыслы» и тем более

«раздавить всю Европу», как собирался еще месяц назад. Во всяком случае, 30 марта он писал Паскевичу уже в совершенном отчаянии: «один только Бог еще спасти нас может от общей гибели!».

Манифест

Только этим отчаянием можно объяснить публикацию знаменитого Манифеста 14 марта. Брюс Линкольн назвал его «пронзительным кличем на архаическом языке, призывавшим русских к священной войне в ситуации, когда никто не собирался на них нападать». Вот текст: «По заветному примеру православных наших предков, призвав в помощь Бога Всемогущего, мы готовы встретить врагов наших, где б они не предстали. Мы удостоверены, что древний наш возглас “За веру, царя и отечество!” и ныне предрекает нам путь к победе. С нами Бог! РАЗУМЕЙТЕ ЯЗЫЦИ И ПОКОРЯЙТЕСЬ, ЯКО С НАМИ БОГ!»

Ничего общего не имел этот язык московитского фундаментализма с дипломатическим протоколом XIX века. Это была истерика – в официальном правительственном документе! Каких неведомых «языщев» собрался он покорять? Каких врагов встретить, когда никто не объявлял войну России и она никому не объявляла? Удивительно ли, что в Европе Манифест произвел «самое неприятное и враждебное, по словам В. И. Панаева, впечатление»? Но связана с ним еще одна странная и не до конца понятная история. Ровно неделю спустя опубликовано было от имени вице-канцлера Нессельроде нечто – неслыханное дело! – подобное извинению за несдержанность его владыки. Толкуется это обычно так: неделя понадобилась приближенным царя на то, чтобы объяснить ему неуместность, скажем так, его архаической воинственности.

Зная, однако, характер автора, трудно поверить, чтобы он позволил опровергнуть собственный Манифест по столь несущественной, с его точки зрения, причине. Тут должно было быть что-то куда более серьезное. Достаточно сопоставить даты. Немедленно после издания Манифеста Николай приказал Паскевичу «срочно приводить в порядок пограничные крепости, Брест палисадировать». И разъяснял: «поздно будет

о сём думать, когда неприятель будет на носу». Какой неприятель? Каким образом мог он оказаться у нас «на носу» через три недели после того, как император, согласно легенде, командовал посреди придворного бала «господам офицерам седлать коней» и скакать на Рейн проучить французских мятежников?

Некоторый свет на все это проливает найденное современным историком А. С. Нифонтовым письмо, из которого ясно, чего мог опасаться Николай: «хлопот в самой Германии столько, что не понять, чтоб им достало силы на какое-либо предприятие против нас». Кому им? Похоже, что речь о либеральных отныне Пруссии и Австрии, которые могли напасть на Россию, где ничего не готово. Нифонтов предполагает даже, что «Николай Павлович действительно боялся нападения со стороны Пруссии, Австрии и даже Франции». Представьте теперь, до какой степени должна была дойти растерянность и дезориентация самодержца, чтобы он испугался фантома. Грубо говоря, ему стало страшно, что наделал он Манифестом своим нечто непоправимое, и царь запаниковал, струсил.

Впрочем, вот текст опровержения, и пусть читатель сам судит, какая гипотеза более правдоподобна: «Ни в Германии, ни во Франции Россия не намерена вмешиваться в правительственные преобразования, которые уже совершились или же могут еще последовать. Россия не помышляет о нападении, она желает мира, нужного ей, чтобы спокойно заниматься развитием внутреннего своего благосостояния». В криминальном мире это, кажется, называется «уйти в глухую несознанку».

Реакция

Европа между тем оказалась так же не готова к конституции в 1848-м, как и Россия в 1825-м. Уже в июне силы реакции перешли в контрнаступление. Откат революции происходил так же стремительно, как и весенний ее прорыв. Один Николай, похоже, все еще не мог прийти в себя после пережитого им в марте ужаса. Даже в июне, когда революция уже отступала, он по-прежнему внушал Паскевичу, что «при оборонительной войне по всем вероятностям значительный отпор наш будет на берегах Вислы». Ожидал, выходит, неприятеля в пределах

своей империи. Европейские генералы тем временем действовали. 12 июня маршал Виндишгрец взял штурмом мятежную Прагу, 23 июня прусские войска изгнали либералов из Бадена и Вюртемберга. 26 июня генерал Кавеньяк расстрелял из пушек восставших рабочих в Париже.

Так оно дальше и шло. 5 августа пал Милан. 1 ноября хорватский бан Елачич взял Вену, вынудив Народное собрание бежать в захолустный Кремниц. 5 декабря прусский премьер Мантейфель распустил либеральный парламент в Берлине. К началу 1849-го, кроме Венецианской республики, полуживого австрийского Собрания в Кремнице и бессильного Франкфуртского парламента, с революцией было, можно сказать, покончено. Твердо стояла одна Венгрия. Но она была изолирована, и ее поражение было лишь вопросом времени.

Крушение мечты

Для Николая, однако, все это оказалось разочарованием жесточайшим. Да, европейская революция была побеждена, но побеждена не им. ЕГО НЕ ПОЗВАЛИ. Даже когда он сам предложил в мае австрийскому императору Фердинанду помощь в Венгрии, она была высокомерно отвергнута. Это была катастрофа для «тютчевской», условно говоря, парадигмы, вдохновлявшей всю его внешнюю политику на протяжении четверти века. Какие «две истинные державы», противостоящие друг другу в Европе? Какая «загнивающая» Европа? Какой звездный час для него – и для России? Вздором все это оказалось, химерой. «В глазах моих исчезает, – писал он проживавшему в изгнании Меттерниху, – целая система взаимных отношений, мыслей, интересов и действий».

Позволено было самодержцу лишь «подчистить» недоделанное европейскими генералами – на глубокой периферии Европы. «Задушил замыслы» в дунайских княжествах, у которых и армии своей не было, и когда на австрийском престоле оказался молодой Франц-Иосиф, и в Венгрии, где Паскевич провозился полгода. Мало сказать, что чувствовал себя после этого Николай генералиссимусом, неожиданно разжалованным в рядовые. Мечта рухнула. Не сравняться было ему

отныне славою с покойным братом, Агамемноном Европы не быть. И со сверхдержавным статусом России предстояло распрощаться тоже.

Можно ли еще было его возродить? Пожалел, должно быть, в эту минуту отчаяния самодержец о своем мотто, придуманном после увольнения С. С. Уварова, бывшего президента Академии наук и автора знаменитой триады «Православие, самодержавие, народность». Как он тогда сказал? «Мне не нужны ученые головы, мне нужны верноподданные»? Увы, ничем не могли ему помочь верноподданные после фиаско 1848 года.

На его счастье – или несчастье – нашлась все же одна рискованная «ученая голова», предложившая выход из безнадежной, казалось, ситуации. Причем достойный, более чем достойный, с точки зрения Николая, выход. Для этого требовалось, правда, забыть о революции, о страхе перед ней и о схватке с ней, вообще обо всей старой «тютчевской» парадигме.

В Европе революции, как выяснилось, не будет, а у нас, как объяснил ему М. П. Погодин, тем более, «мы испугались ее напрасно... Мирабо для нас не страшен, для нас страшен Емелька Пугачев. Ледрю Роллен со своими коммунистами не найдут у нас себе приверженцев, а перед Никитой Пустосвятом разинет рот любая деревня. На сторону к Мадзини не перешатнется никто, а Стенька Разин лишь кликни клич! Вот где кроется наша революция». Но из такой предпосылки следовала совсем другая стратегия. Можно было, оказывается, поставить на место самодовольную Европу, а заодно и – без всякой революции – утолить уязвленное тщеславие самодержца. И Погодин развернул перед ним эту новую стратегию подробно.

Но об этом в следующих главах.

АНТИЕВРОПЕЙСКОЕ ОСОБНЯЧЕСТВО

Возможно, это был первый в России политический самиздат. И как всякий самиздат в отрезанной от мира стране, предприятие это было рискованное. В особенности в николаевской России, где, как записывал (в дневнике) А. В. Никитенко, «люди стали опасаться за каждый день свой, думая, что он может оказаться последним в кругу друзей и родных». Но Михаил Петрович Погодин, первый, кажется, университетский профессор из крепостных, всегда слыл в кругах московской интеллигенции (и полиции) чем-то вроде *enfant terrible*. Нет, не по причине политической неблагонадежности: верноподданным он был образцовым. Скорее из-за замечательной его откровенности: что думал, то и говорил. Так и в этом случае. Он откровенно говорил с царем в неподцензурных письмах.



Похищение Европы. Художник Франсуа Буше. 1750

Конечно, Погодин был русским националистом, государственнымником, державником и в этом смысле антиподом, скажем, Чаадаева. Того, как мы помним, беспокоило, что «обособляясь от европейских народов морально [Чаадаев имел, конечно, в виду идеологию официальной народности]», мы рискуем «обособиться от них и политически», а это может кончиться чем угодно, вплоть до войны между Россией и Европой. Погодина беспокоило нечто прямо противоположное. А именно, что, обособившись от Европы морально, Николай не решался обособиться от нее политически. Более того, мечтал, как мы знаем, спасти ее от революции, что с точки зрения державных интересов России было, по мнению Погодина, верхом бессмыслицы.

Да, писал он, «миллион русского войска готов был лететь всюду, в Италию, на Рейн, в Германию и на Дунай, чтобы доставить свою помощь и успокоить любезных союзников». А зачем? Что нам до них? Раздражала Погодина эта удивительная неэффективность политики царя, его неспособность адекватно реализовать «наполеоновское» могущество России. В конце концов, у него гигантская армия, превосходящая все европейские армии вместе взятые. И что? Переделывал он, подобно Наполеону, континент? Стало его слово для Европы законом? Играла она по его правилам? Да ничего подобного.

«Пересмотри все европейские государства и увидим, что делали они кому что угодно, несмотря на все наши угрозы, неодобрения и другие меры». Нужно быть слепым, чтобы не заметить, к чему все это привело хоть в 48-м году и после него: «Правительства нас предали, народы возненавидели, а порядок, нами поддерживаемый, нарушался, нарушается и будет нарушаться... Союзников у нас нет, враги кругом и предатели за всеми углами, ну так скажите, хороша ли Ваша политика?»

Не тому подражали, Ваше величество!

Ограничься погодинские самиздатские письма одной солью на раны, не сносить бы автору головы. Тем более что император был тогда угрюм, раздражен и зол на весь свет. И совершенно непонятен был бы восторг С. П. Шевырева, соредатора Пого-

дина по журналу «Москвитянин», писавшего из Петербурга: «Твое письмо было в руках царя», если бы не сопровождалось это ремаркой: «прочитано им и возбудило полное удовольствие его». Понятно, что понравилась Николаю не дерзкая критическая часть письма, а погодинский сценарий полной переориентации политики России, открывавший неожиданные – и замечательные, казалось, – перспективы отмщения Европе за несчастливый 1848-й. В подтексте сценария было: «подражать русскому царю пристало Наполеону, а не...». И объяснялось почему.

Прежде всего потому, что «союзники наши в Европе, и единственные, и надежные, и могущественные – славяне. Их 10 миллионов в Турции и 20 миллионов в Австрии. Это количество еще значительнее по своему качеству по сравнению с изнеженными сынами Запада. Черногорцы ведь встанут в ряды поголовно. Сербы так же, босняки от них не отстанут, одни турецкие славяне могут выставить 200 или 300 тысяч войска». А во-вторых: «Подготавливается решение великих вопросов, созревших для решения. Вопрос Европейский об уничтожении варварского турецкого владычества в Европе. Вопрос Славянский об освобождении древнейшего племени от чуждого ига. Вопрос Русский об увенчании русской истории... об ее месте в истории человечества. Вопрос Религиозный о вознесении православия на подобающее ему место. Камень сей бысть во главе угла! Да! *Novus nascitur ordo!* Новый порядок, новая эра наступает в истории. Владычество и влияние уходят от одних народов к другим... И если вы упустите эту благоприятную минуту, то Вам не останется ничего, кроме вечного угрызения совести и вечного стыда!»

Что должен был подумать, читая эту страстную проповедь, растерянный и угнетенный после фиаско 1848-го самодержец? Да он, пожалуй, не дурак, этот Погодин, хотя и «ученая голова»? И впрямь ведь по сравнению с советами, которые давали ему до сих пор другие «ученые головы», – небо и земля! Чего стоил хотя бы этот Тютчев со своей Революцией как «истинной державой». Или тот же Уваров с нелепым циркуляром 1847 года, предписывавшим преподавателям гимназий и профессорам университетов внушать студентам, что «оно [славянство] не

должно возбуждать в нас никакого сочувствия. Оно само по себе, а мы сами по себе. Мы без него устроили свое государство, а оно не успело ничего создать и теперь окончило свое историческое существование». Правда, начинался тот злосчастный циркуляр с предупреждения, что «составлен он по высочайшей воле». Но память царей, как известно, избирательна...

Так или иначе, Россия – во главе нового мирового порядка, консервативного мирового порядка, это не снилось и самому Наполеону! Да, он перекраивал по своему капризу континент, отменял одни государства и придумывал другие, раздаривая их своим братьям и маршалам. Но зачем? Словно в куклы с Европой играл. Ни в какое сравнение не идет эта игра с тем, что предлагает Погодин, с «великой православной империей от Восточного океана до моря Адриатического», стоящей на твердой почве религиозной и этнической общности. Целая философия за этим. И подробный сценарий прилагается. Вот такой.

«Россия должна сделаться главою Славянского союза... По естеству выйдет, так как русский язык должен со временем сделаться общим литературным языком для всех славянских племен... К этому союзу по географическому положению, находясь между славянскими землями, должны пристать необходимо Греция, Венгрия, Молдавия, Валахия, Трансильвания, в общих делах относясь к русскому императору как к главе мира, т. е. всего славянского племени». И, само собой, «по естеству выйдет», говоря языком Погодина, что окажутся «русские великие князья на престолах Богемии, Моравии, Венгрии, Кроации, Славонии, Далмации, Сербии, Болгарии, Греции, Молдавии, Валахии, а Петербург в Константинополе». Родственные, так сказать, «скрепы» великой империи в дополнение к духовным. И административным. Так надежнее.

«Похищение Европы»

На первый взгляд, речь в этом очаровавшем самодержца сценарии лишь о военном переделе Европы. Ну, не могли же русские великие князья оказаться на престолах Богемии или Хорватии без большой войны и расчленения Австрийской империи.

И тем более не мог бы оказаться «Петербург в Константинополе» без расчленения Блистательной Порты, как бывшая евразийская сверхдержава Турция требовала себя теперь называть. В подтексте погодинского сценария было, однако, и нечто другое, куда более амбициозное, чем даже «великая православная», описанная выше. Собственно, Погодин никогда этого не скрывал, писал об этом открытым текстом еще в 1838 году в подцензурной печати. Он объехал тогда все европейские страны и вынес из этой поездки стойкое убеждение, что, растеряв свои традиционные ценности, Европа обречена, созрела для завоевания.

Отсюда панегирик России, на который мало кто обратил тогда внимание: «Русский Государь теперь ближе Карла V и Наполеона к их мечте об универсальной [то есть всемирной] империи. Да, будущая судьба мира зависит от России. Она может все – чего же более?». И, вполне логично с его точки зрения, Погодин это доказывал: «Кто взглянет беспристрастно на европейские государства, тот согласится, что они отжили свой век... Разврат во Франции, леность в Италии, жестокость в Испании, эгоизм в Англии – неужели совместны с понятием о счастье гражданском, об идеале общества, о граде Божьем? Золотой телец – деньги, которому поклоняется вся Европа, неужели есть высший градус нового христианского просвещения? Где же добро святое?».



Наполеон I

Читатель уже, конечно, догадался, где оно, «добро святое». Там же, где и по сей день усматривают его русские «патриоты». В отечественных традиционных ценностях и главной из них – абсолютной власти. Правильно догадался: «Совсем не то в России. Все ее силы,

физические и нравственные, составляют одну громадную машину, управляемую рукой одного человека, рукою русского царя, который во всякое мгновение единым движением может давать ей ход, сообщать какое угодно будет ему направление и произвести какую угодно скорость. Заметим, наконец, что эта машина одушевлена единым чувством, это чувство есть покорность, беспредельная доверенность и преданность царю, который есть для нее земной бог».



Николай I

Я мог бы пересказать все это короче своими словами.

Только едва ли бы вы мне поверили, что один из самых выдающихся консервативных мыслителей России николаевской эпохи мог думать так, как он думал. Документальность, иначе говоря, есть единственная для меня возможность не лишиться доверия читателя. Причем цитирую я человека, к которому император не только прислушался, несмотря на немислимую дерзость его самиздатских инвектив, но и ПОСЛУШАЛСЯ: вся его политика в 1850-е строилась, исходя именно из погодинского сценария (той его части, конечно, что могла тогда казаться немедленно осуществимой).

Мы не знаем, догадывался ли Николай про подводное, так сказать, основание этого политического айсберга, то есть про то, что он «ближе Карла V и Наполеона к универсальной империи». Зато мы теперь знаем, что Чаадаев был прав: моральное обособление от Европы, которое я вслед за В. С. Соловьевым называю антиевропейским особнячеством, неминуемо должно было породить монстра, то есть обособление политическое, чреватое не только полубезумными планами завоеваний, но и вполне реальной войной.

Миф особнячества

Очень интриговало меня заключение, к которому пришел в своей книге *Nicolas I and Official Nationality In Russia* Н. В. Рязановский: «Александр II проводил реформы, Александр III апеллировал к национальным чувствам, при Николае II страна обрела даже шаткий конституционный механизм. Но все эти начинания остались каким-то образом неуверенными, неполными. И, в конце концов, в пожаре 1917 года обрушился все тот же архаический старый режим (*antiquated ancien regime*), установленный Николаем I. В известном смысле *этот жесткий самодержец преуспел больше, чем мог вообразить*» (курсив мой. – А. Я.). Очевидное, казалось бы, противоречие с главным выводом той же книги (который я тоже цитировал), что «моровые годы» Николая были попросту потеряны для России. Я даже спрашивал об этом автора. Но он лишь пожал плечами: так получается...

Разгадка между тем, кажется, в том, что прав был Рязановский в обоих случаях. Да, царствование Николая действительно было бесплодным как библейская смоковница. И да, действительно был при нем создан миф удивительной мощи и долговечности, миф, сокрушивший петровскую Россию. А за ней, между прочим, и советскую, усвоившую, даже не подозревая об этом, погодинскую версию мифа буквально: Европа стала для нее добычей. И, что самое поразительное после этого трагического опыта, миф и сегодня пребывает в силе и славе. Я, конечно, о мифе антиевропейского особнячества, который по-прежнему противопоставляет чаадаевскому «слиянию с Европой» те самые ценности, что дважды в одном столетии вынуждали Россию начинать жизнь с чистого листа, ту самую «искусственную (по выражению В. С. Соловьева) самобытность». Можно подумать, что Германии или Франции пришлось пожертвовать своей действительной самобытностью ради «слияния с Европой».

Но мы отвлеклись. Погодин исходил из мифа особнячества как из данности. Он лишь сделал выводы, логически из него следующие. И в соответствии с этой логикой Россия больше не собиралась спасать Европу от революции, как в первую

четверть века царствования Николая, она вызывала ее на бой. Немедленные результаты этого вызова были катастрофическими: несчастная война, первая в Новое время капитуляция России, окончательное крушение ее сверхдержавного статуса. Увы, прав Рязановский, ничему это не научило ни ее правителей, ни тем более идеологов антиевропейского особнячества. И по-прежнему не о чем было Чаадаеву, предсказавшему этот исход, спорить с Погодиным так же, как, допустим, сегодня мне с Дугиным. Нет больше общего языка, между нами – пропасть мифа.

Но преимущество все-таки у Чаадаева – и у меня. История, как мог убедиться читатель, на нашей стороне. Ибо что же принес этот долгоиграющий миф России? Разве не одни лишь горе, нищету, ужас террора – и кошмарную необходимость дважды в одном столетии начинать жизнь сначала? Ничего, кроме этого, я, собственно, и не хотел здесь показать.

СЛАВЯНОФИЛЫ

С декабристских времен власть и мыслящие люди в России были по разные стороны баррикады. Самодержавие со своими жандармами, со своими двенадцатью цензурами, со своей казенной риторикой считалось чужим, считалось врагом. Язык не поворачивался оправдывать запрет на инакомыслие, лежащий в основе николаевской официальной народности. Так и писал П. Я. Вяземский: «Честному и благожелательному русскому нельзя больше говорить в Европе о России или за Россию. Можно повиноваться, но нельзя оправдывать и вступаться». Хватало, впрочем, и таких, кто служил режиму по нужде или по охоте – когда их не хватает? – но те были нерукопожатные. В 1840-е, однако, произошло нечто невероятное.

Самодержавие вдруг было поднято на щит. Нет, не то самодержавие, что воцарилось в России после разгрома декабристов, другое, очищенное от казенной шелухи, цензуры и крепостничества, рафинированное, так сказать, но все-таки



Москва. Век XVII

самодержавие. Именно оно было представлено обществу как воплощение национальной – и цивилизационной – идентичности России.

Невероятным казалось это потому, что мало кто уже мог вообще представить себе какое-нибудь другое самодержавие, кроме косноязычного и хамоватого монстра, устами самого самодержца объявившего себя деспотизмом. Тем более представить его respectableным, оснащенным всеми новейшими философскими и культурологическими аксессуарами – в качестве последнего, если хотите, слова науки.

И тем не менее группа одаренных и уважаемых московских философов и литераторов (Константин Аксаков, Алексей Хомяков, Иван Киреевский, Юрий Самарин и др.) с конца 1830-х работала именно над такой метаморфозой самодержавия. Оппоненты прозвали их славянофилами (они, впрочем, против этого не возражали). И никто, даже Чаадаев, не предвидел, что именно им, этим на первый взгляд чудачкам, суждено было стать знаменосцами особняческого мифа, обеспечив ему своего рода бессмертие. Именно под их пером уваровский постулат «Россия не Европа» станет русской национальной идеей.

Учителя и ученики

Разумеется, само представление, что идея может быть национальной, заимствовали они у германских романтиков-тевтонофилов, отчаянно ревизовавших в начале XIX века европейскую традицию эпохи Просвещения (как мы уже говорили, в этой традиции идеи отечества не имеют). Немцы, однако, придумали свой *Sonderweg* («особый путь»), протестуя против наполеоновского деспотизма, безжалостно кромсавшего и унижавшего их и без того разодранную на десятки крохотных государств родину. В их сознании Просвещение отождествлялось с фигурой всевропейского деспота. Оттого и придумали они свой, отдельный от Европы «особый путь», свою, если хотите, Германскую идею. Но славянофилы-то жили в гигантской монолитной империи. Более того, в могучей сверхдержаве, разгромившей Наполеона. Так откуда, спрашивается, русский *Sonderweg*?

Представьте, сколько ума, таланта и изобретательности понадобилось славянофилам, чтобы адаптировать национальную идею их немецких учителей к российским реалиям. Ларчик, впрочем, открывался просто: ученики тоже протестовали против деспотизма. И их деспот, считали они, тоже поработил Россию. Звали его Петр, был он императором всероссийским, но императором-предателем. Как часовой, изменивший своему долгу, открыл он ворота православной крепости чуждым ей идеям европейского Просвещения, искалечив ее «культурный код» и превратив Россию в какую-то ублюдочную полу-Европу. Вот и пожинаем мы сейчас, при Николае, заявили славянофилы, плоды петровского предательства. Короче, Россия была в их время так же беспощадно унижена николаевским деспотизмом, как Германия наполеоновским.

Унижена до такой степени, что Николай мог, как мы помним, публично объявить, будто деспотизм «согласен с гением нации». Словно русские – нация рабов. Мало того, как объяснял один из его приближенных генерал Яков Ростовцев, «совесть нужна человеку в частном домашнем быту, а на службе и в гражданских отношениях ее заменяет высшее начальство». Официальная народность претендовала, таким образом, быть вовсе не одной лишь самодержавной властью, но и пастырем народа, его моральным учителем, его совестью? Власть все знает, все видит, она осушит все слезы, утешит всех страждущих. Одним словом, «название государя – Земной бог, хотя и не вошло в титул, допускаясь как толкование власти царской».

Из декабристской шинели?

Как видим, возмущал николаевский деспотизм родоначальников славянофильства ничуть не меньше, чем декабристов. Тем более что представлялся он им не только цезарепапизмом, как В. С. Соловьеву и не только «дикой полицейской попыткой отрезаться от Европы», как А. И. Герцену, но в буквальном смысле слова ересью, секулярной религией, призванной подменить православие.

Впоследствии в открытом письме Александру II Константин Аксаков бесстрашно высказал все, что он думал о николаевской

России: «Как дурная трава, выросла непомерная бессовестная лесь, обращающая почтение к царю в идолопоклонство... Откуда происходит внутренний разврат, взяточничество, грабительство и ложь, переполняющие Россию? От угнетательной системы нашего правительства, оттого, что правительство вмешалось в нравственную жизнь народа и перешло, таким образом, в душевредный деспотизм, гнетущий духовный мир и человеческое достоинство народа. Современное состояние России представляет внутренний разлад, прикрываемый бессовестной ложью – все лгут друг другу, видят это, продолжают лгать и неизвестно до чего дойдут».

Важно нам здесь, что написать это могли и Михаил Лунин, и Кондратий Рылеев. Иначе говоря, то, что родоначальники славянофильства были либералами, вышли, так сказать, из декабристской шинели, не подлежало сомнению, не будь даже знаменитого стихотворения Хомякова «России»:

В судах черна неправдой черной
И игом рабства клеймена,
Безбожной лести, лжи притворной,
И лени мертвой и позорной,
И всякой мерзости полна.

И тем более ошеломляюще, тем более чуждо либеральной традиции звучала концовка этого стихотворения:

О, недостойная избранья,
Ты избрана!

Рождение национал-либерализма

Как ничто другое, освещал этот бесподобный мистический поворот жестокою истину: в России родилось совершенно новое мировоззрение, сочетавшее в себе две взаимоисключающие идеологии: современный либерализм и средневековую веру в избранность сакральной – в силу своего исключительного правоверия – нации. Назовем ее национал-либерализмом. Это роковое раздвоение славянофильства между декабристской бесхитростностью и антиевропейским особнячеством тонко заметил В. С. Соловьев, предсказав всю его дальнейшую судь-

бу: «Внутреннее противоречие между требованиями истинного патриотизма, желающего, чтобы Россия была как можно лучше, и фальшивыми притязаниями национализма, утверждающего, что она и так всех лучше, погубило славянофильство».

Странно, что не понял губительность этого противоречия и даже любовался им Н. А. Бердяев, написавший книгу о Хомякове: «В его стихотворениях отражается двойственность славянофильского мессианизма – русский народ смиренный, и этот смиренный народ сознает себя первым, единственным в мире... Хомяков хочет уверить, что русский народ не воинственный, но сам он, типичный русский человек, был полон воинственного духа, и это было пленительно в нем. Он отвергал соблазн империализма, но в то же время хотел господства России не только над славянством, но и над всем миром». Бердяев, как мы знаем, считал себя преданным учеником Соловьева, боюсь, однако, что Соловьев едва ли признал бы его своим учеником.

Но противоречия славянофильства этим, увы, не исчерпались. Проклинаая «душевредный деспотизм», самодержавие, на котором он зиждился, они, как мы видели, его восхваляли. Ибо «только при неограниченной власти монархической народ



И. В. Кириевский



К. С. Аксаков

может отделить от себя государство, предоставив себе жизнь нравственно-общественную». Свободу они воспевали, но конституцию, без которой ее не бывает, поносили. «Вмешательство государства в нравственную жизнь народа» порицали, но и «вмешательство народа в государственную власть» считали источником всех бед. «Посмотрите на Запад, – восклицал Иван Аксаков, младший брат Константина и будущий лидер второго поколения славянофилов. – Народы увлеклись тщеславными побуждениями, поверили в возможность правительственного совершенства, наделали республик, понастроили конституций – и обеднели душою, готовы рухнуть каждую минуту».

Но дадим слово им самим. Пусть сами попытаются убедить читателя в преимуществах своего национал-либерализма. Вот центральный их постулат – «Первое отношение между правительством и народом есть отношение взаимного невмешательства». Покоилось оно на цепочке аксиом. У нас все не так, как на Западе. Православный народ и самодержавное государство связаны у нас отношениями «взаимной доверенности», по каковой причине жестокие конфликты, преследующие Запад, у нас исключены. Поэтому нет нужды в ограничениях власти, в конституциях и парламентах. И слава Богу, ибо иначе «юридические нормы залезут в мир внутренней жизни, закуют его свободу, источник животворения, все омертвят и, разумеется, омертвеют сами». Оттого и угасает Европа, доживая последние годы, как тело без души, и «мертвенным покровом покрылся Запад весь». (Одной лишь аксиомы, заметим в скобках, не хватало во всей этой цепочке: там, где народ не вмешивается в государственную власть, там власть непременно вмешивается в его нравственную жизнь.)

Впрочем, славянофилы знали – или думали, что знают, – и другую причину превосходства допетровской Руси над Западом. У нас не было нужды в аристократии, сформировавшейся там из потомков древних завоевателей. Действительным аристократом был у нас – и, слава Богу, остается – крестьянин, хранитель традиционных ценностей, тот самый народ, что некогда призвал царей и добровольно вручил им самодержавную власть. «Мы обращаемся к простому народу по той же причине, по которой они обращаются к аристократии, то есть потому,

что у нас только народ хранит в себе уважение к отечественному преданию. В России единственный приют торизма – черная изба крестьянина».

Отсюда неожиданное заключение: верховный суверенитет народа существует у нас и только у нас. Как писал единомышленнику Хомяков по поводу статьи Тютчева, высмеивавшей народный суверенитет: «попеняйте ему за нападение на *souveraineté du people*. В нем действительно *souveraineté supreme*. Иначе что же 1612 год? Я имею право это говорить потому именно, что я антиреспубликанец, антиконституционалист и пр. Самое повинование народа есть *un acte du souveraineté*».

Полуправда

Я воздерживался от комментариев, пока славянофилы излагали преимущества своей политической философии. Естественно впору было бы сейчас спросить читателя: ну как, убедили вас их аргументы? Но последняя реплика Хомякова напрашивается на немедленный ответ. Ибо согласившись, что народ действительно был в допетровской России *souveraineté supreme*, получится, что сам этот народ своей верховной волей себя же и закрепостил. Какой же тогда смысл в славянофильском протесте против крепостничества? И как посмел тот же Хомяков заклеймить этот народный *acte du souveraineté* «мерзостью рабства законного»? И заявить вдобавок, что «покуда Россия остается страной рабовладельцев, у нее нет права на нравственное значение»?

Сказать это имели право декабристы. Имели, потому что были уверены: закрепостило народ самодержавное государство, причем именно в допетровской Руси, в этом православном рае славянофилов, и, поработав свой народ, прекраснейшим образом обошлось оно без предателя-Петра. Иначе говоря, либеральная, декабристская половина славянофильства вполне была занимать ту антикрепостническую позицию, которую занимало оно в николаевской России. Но «антиконституционалистская», самодержавная его половина лишала славянофилов этого права, повисала в воздухе. Примерно так же – как мы увидим дальше – обстояло дело и с другими аргументами

славянофилов. Все они (за исключением прямого вздора, как, например, того, что «Европа доживает последние дни» и «готова рухнуть каждую минуту» (в 1840-е!) оказались полуправдой.

Трагедия славянофильства

Куда более важна, однако, другая сторона дела. Спросим для начала, прав ли был князь Н. С. Трубецкой (один из основателей евразийства, которому суждено было заново начать реабилитацию Русской идеи после очередного ее крушения в 1917-м), презрительно сбросив со счетов славянофильство как «неправильный национализм»? Приговор Трубецкого был беспощаден: «Славянофильство должно было ВЫРОДИТЬСЯ». Конечно, гибель славянофильства предсказал, как мы помним, полустолетием раньше, когда оно еще было в силе и славе, В. С. Соловьев. Но совсем не по той причине (Трубецкой считал, что выродилось славянофильство из-за того, что «было построено по романо-германскому [то есть европейскому] образцу»). Соловьев исходил из того, что искусственное соединение в одной доктрине двух в принципе несоединимых начал чревато вырождением.

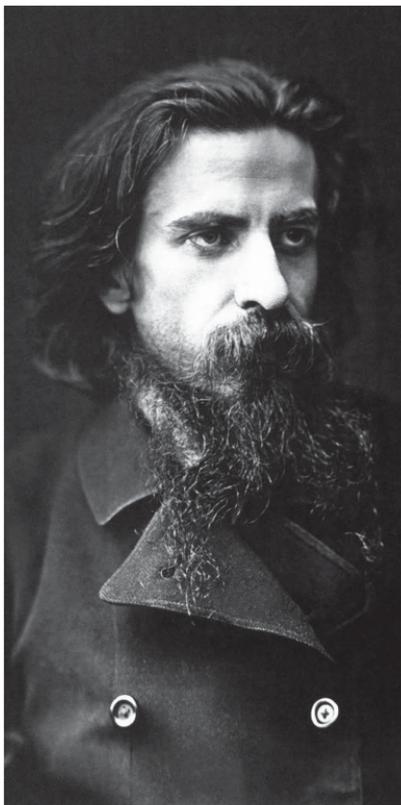
Да, в условиях николаевской официальной народности, этого симбиоза обожествленного государства с «гением нации», самодержавия с идолопоклонством, патриотизма с крепостничеством, симбиоза, практически неуязвимого для критики извне, славянофилы, безусловно, сыграли в высшей степени положительную роль. Россия была тогда в идеологической ловушке такой мощи, что подорвать ее господство над умами можно было, как в советские времена, лишь изнутри. И никто, кроме славянофилов, не мог исполнить такую задачу. Ибо только с позиции апологетов самодержавия можно было атаковать деспотизм – как кощунство. Только с позиции защиты православия можно было разоблачить секулярную религию – как ересь. Это и сделали славянофилы, оказавшись в парадоксальной для себя роли борцов за секуляризацию власти. И если прав был Маркс, считая, что «критика религии есть предпосылка всякой другой критики», то задачу свою они выполнили.

Признанный мастер демонтажа тоталитарной идеологии Александр Николаевич Яковлев подтверждает: «этого монстра демонтировать можно только изнутри». Другое дело, какую цену пришлось славянофилам заплатить за свой подвиг. Увы, и после падения официальной народности, в совершенно другой реальности, не расстались они с попыткой совместить несовместимое – свободу с самодержавием, патриотизм с Русской идеей, современность со средневековьем. В результате, хотя и по разным причинам, но правы оказались и Соловьев, и Трубецкой – выродилось славянофильство. Из борца с деспотизмом, каким оно было в 1840-е, превратилось в его идейное оправдание в 1900-е. Вот такая трагедия.

«С ПЕЧАТЬЮ ГЕНИЯ НА ЧЕЛЕ...»

Знакомство мое с Владимиром Сергеевичем Соловьевым состоялось, можно сказать, осенью 1967 года. Я был тогда спецкором самой популярной в интеллигентной среде газеты с миллионным тиражом, Литературной, объехал полстраны, ужаснулся тому, что увидел, опубликовал несколько громких статей о вымирающей русской деревне. И вдруг пригласил меня Чаковский, главный, и предложил написать статью на полосу о Соловьеве. Я, глупый, обрадовался, что была на этот раз командировка не в забытые Богом смоленские или костромские колхозы, а в уютные залы Ленинки, где и листал я месяцами тома Соловьева. Даже не подозревая, что перевернет эта командировка всю мою жизнь.

Что знал я до этого о Соловьеве? Не больше того, что должен был знать любой интеллигентный человек в СССР. Анекдоты. Правда, впечатляющие. Знал, что в 1880-е он пережил жестокую духовную драму, сопоставимую разве что с драмой безвестного фарисея Савла, обратившегося по дороге в Дамаск в пламенного апостола христианства Павла. Случаев, когда крупные русские умы обращались из западничества в славянофильство было в XIX веке



В. С. Соловьев

предостаточно. Самые знаменитые примеры – Достоевский и Константин Леонтьев. Но никто, кроме Соловьева, не прошел этот путь в обратном направлении.

Знал, что лишь два человека в тогдашней России, он и Лев Толстой, публично протестовали против казни цареубийц в 1881 году. Знал, что Константин Леонтьев, гордец и задир, «самый острый ум, рожденный русской культурой в XIX веке» (по словам Петра Струве), хотя и назвал однажды Соловьева «сатаной», благоговел перед ним, жаловался в письмах, как трудно ему возражать «человеку с печатью гения на челе». Это я, впрочем, знал из своей диссертации. Она была о Леонтьеве.

Вот, пожалуй, и все, что знал я о Соловьеве. А предстояло мне узнать неожиданное. А именно, что покинув свое «патриотическое» кредо, Соловьев не только обратился в жесточайшего его критика и не только объяснил его деградацию, но и точно предсказал, что именно от него и погибнет петровская Россия.

«Лестница Соловьева»

Вот что писал я о нем в одной старой книжке (После Ельцина, 1995): Предложенная им формула, которую я назвал «лестницей Соловьева» – открытие, думаю, не менее значительное, чем периодическая таблица Менделеева, а по смелости предвидения даже более поразительное. Вот как выглядит эта формула:

«Национальное самосознание есть великое дело, но когда самосознание народа переходит в самодовольство, а самодовольство доходит до самообожания, тогда естественный конец для него *национальное самоуничтожение*» (курсив мой. – А. Я.)

Вчитайтесь в эту страшноватую формулу и увидите, что содержится в ней нечто и впрямь неслыханное: в России национальное самосознание, то есть естественный как дыхание патриотизм, может оказаться смертельно опасным для страны. Неосмотрительное обращение с этим глубоко интимным чувством, похвальба «искусственной самобытностью», говорит нам Соловьев, неминуемо развязывает цепную реакцию деградации, при которой культурная элита страны ПЕРЕСТАЕТ ЗАМЕЧАТЬ происходящие с нею роковые метаморфозы.

Нет, Соловьев в отличие, скажем, от Толстого, ничуть не сомневался в жизненной важности патриотизма, столь же необходимого, полагал он, для народа, как для человека любовь к детям или родителям. Опасность лишь в том, что в России граница между ним и второй ступенью соловьевской лестницы, «национальным самодовольством» (или говоря языком политики, национал-либерализмом) неочевидна, аморфна, размыта. Но стоит культурной элите страны подменить патриотизм национал-либерализмом, как дальнейшее ее скольжение к национализму жесткому, совсем уже нелиберальному (даже, по аналогии с крайними радикалами времен Французской революции, «бешеному») становится НЕОБРАТИМЫМ. И тогда национальное самоуничтожение неминуемо. Четырнадцать лет спустя после смерти Соловьева (он умер в 1900 году) именно это и случилось с культурной элитой России. Она совершила, как он и предсказывал, коллективное самоубийство, «самоуничтожилась».

Казус Достоевского

О том, как пришел Соловьев к своей формуле, и попытался я рассказать в заказанном мне очерке для ЛГ. В 1880-е, когда он порвал со славянофильством, вырождалось оно на глазах, совершенно отчетливо соскальзывая на третью, предсмертную ступень его лестницы. Достаточно сослаться хотя бы на того же необыкновенно влиятельного в славянофильских кругах Достоевского, чтобы в этом не осталось сомнения.

Вот его декларация: **«Если великий народ не ведаёт, что в нём одном истина (именно в нём одном и именно исключительно), если не верует, что он один способен и призван всех воскресить и спасти своею истиной, то он тотчас перестаёт быть великим народом... Истинный великий народ никогда не может примириться со второстепенною ролью в человечестве и даже с первостепенною, а непременно и исключительно с первою... Но истина одна, а стало быть, только единый из народов может иметь Бога истинного... Единый народ-богоносец – русский народ».** Другими словами, мы, русские, первые в мире. Что это, по-вашему, если не национальное самообожание?

Декларацией, однако, дело не ограничилось. За ней следовала полубезумная – и агрессивная – рекомендация правительству: «Константинополь должен быть НАШ, завоеван нами, русскими, у турок и остаться нашим навеки». Рекомендация сопровождалась пророчеством: «Она накануне падения, ваша Европа, повсеместного, общего и ужасного... Наступит нечто такое, чего никто и не мыслит. Все эти парламентаризмы, банки, жидаы, все это рухнет в один миг и бесследно... Все это близко и при дверях... предчувствую, что подведен итог». Сказано полтора столетия назад. Европа, правда, все еще «накануне падения».

Мало того, неудачливый пророк Достоевский еще и яростно спорил с самим «отцом русского панславизма» Николаем Данилевским, который, конечно, тоже требовал захвата Константинополя, но полагал все же справедливым владеть им после завоевания наравне с другими славянами. Для Достоевского об этом и речи быть не могло: «Как может Россия участвовать во владении Константинополем на равных основаниях со славянами, если Россия им не равна во всех отношениях – и каждому народцу порознь и всем вместе взятым?»

Согласитесь, что-то странное происходило с этим совершенно ясным умом, едва касался он вопроса о первенстве России в мире (для которого почему-то непременно требовалось завоевание Константинополя). С одной стороны, уверял он читателей, что «Россия живет решительно не для себя, а для одной лишь Европы», а с другой – наше (собственно, даже не наше, чужое, которое еще предстоит захватить ценою кровавой войны) не трожь! И не только с Европой, для которой мы вроде бы и живем на свете, но и с дорогими нашему православному сердцу братьями-славянами не поделимся...

Впрочем, в одном ли Достоевском было дело? Разве не стояли так же неколебимо за войну с рушащейся, как им казалось, Европой и завоевание Константинополя все без исключения светила тогдашнего, второго поколения славянофилов – и Иван Аксаков, и Данилевский, и Леонтьев, как бы ни расходились они между собою? Разве не написал об этом великолепные стихи Тютчев: «И своды древние Софии/ В возобновленной Византии/ Вновь осенит Христов алтарь./ Пади пред ним, о царь

России / И встань как всеславянский царь!»? И разве, наконец, поняли бы мы – и главное, они сами – без помощи формулы Соловьева, каким образом разумные, серьезные, здравомыслящие люди, вчерашние национал-либералы и позавчерашние наследники декабристов превратились в воинственных и агрессивных маньяков? И почему не в силах были они, имея за спиной гигантскую незаселенную Сибирь, отказаться от соблазна отхватить еще кусок-другой чужой землицы?

Удивительно ли, что потрясен был Соловьев этой бьющей в глаза пропастью между высокой риторикой своих вчерашних товарищей и жутковатой их политикой? Ну, как поступили бы вы на его месте, когда на ваших глазах уважаемые люди, моралисты, философы провозглашали свой народ, говорил Владимир Сергеевич, «святым, богоизбранным и богоносным, а затем во имя всего этого стали проповедовать такую политику, которая не только святым и богоносным, но и самым обыкновенным смертным чести не делает»?

Не менее странно, что столь очевидное и пугающее противоречие между словом и делом несколько не насторожило последователей (и, заметим в скобках, исследователей) Русской



Ф. М. Достоевский



К. Н. Леонтьев

идеи. Никто из них даже не попытался объяснить, каким, собственно, образом за какие-нибудь два поколения наследники декабристов, пусть непоследовательные, пусть сомневающиеся, но при всем том так же, как и декабристы, ставившие во главу угла СВОБОДУ РОССИИ, превратились вдруг в фарисеев и маньяков, в апологетов деспотизма и империи. И впрямь ведь, согласитесь, странно.

О «национальном эгоизме»

Еще более странно, однако, что никто никогда не воспользовался удивительным прогностическим даром Соловьева – ни в России, ни в мире. А ведь предсказал он не только уязвимость патриотизма в России и не только деградацию славянофильства. Это он сделал походя, в одной уже известной нам фразе, что «внутреннее противоречие между требованиями истинного патриотизма, желающего, чтобы Россия была как можно лучше, и фальшивыми притязаниями национализма, утверждающего, что она и без того всех лучше, погубило славянофильство».

Предсказал он и нечто куда более важное. Покажу это на двух примерах. Ну, подумайте, кому за три десятилетия до мировой войны могло прийти в голову, что война эта будет для петровской России «последней» и закончится не завоеванием Константинополя, а ее, этой России, «самоуничтожением»? Кому, я спрашиваю, кроме Соловьева? Ведь это еще и в 1914-м мало кому снилось.

Вот другой пример. Говоря о мучившей его разнице между патриотизмом и Русской идеей, Соловьев обронил, что «национализм «представляет для народа то же, что эгоизм для индивида». И развернул свою гениальную догадку: «Наша внеевропейская или противоевропейская преднамеренная и искусственная самобытность всегда была лишь пустая претензия. Отречься от этой претензии есть для нас первое и необходимое условие. Этому противостоит лишь неразумный псевдопатриотизм, который под предлогом любви к народу желает удержать его на пути национального эгоизма, то есть желает ему зла и гибели».

Что, собственно, имел в виду Соловьев под этим национальным эгоизмом? Да то, что слышим мы каждодневно из уст подавляющего большинства государственных мужей, будь то Америки, Китая или России: абсолютное – и неоспоримое – верховенство национальных интересов. И никому из них как-то не приходит в голову, что произносят они нечто, в общем-то, неприличное.

Ну, стали бы вы иметь дело с человеком, провозглашающим на каждом шагу, что его личные интересы превыше всего в этом мире? Случайно ли, что любой индивид в здравом уме, кроме разве Жириновского, никогда так не скажет (по крайней мере, в приличном обществе)? А вот в отношениях между государствами произносят это с некоторой даже гордостью и в самых респектабельных кругах, хотя и не совсем понятно, чем, собственно, отличается национальный эгоизм от личного. Наблюдение чудака не от мира сего, скажете вы?

Понадобились три четверти столетия и две мировые войны, чтобы хотя бы часть современного мира, Европа, додумалась до того, как первостепенно важно подчинить эти самые, вчера еще для нее священные национальные интересы интересам Сообщества. И объявив, что безопасность Сообщества выше национального суверенитета отдельных его членов, признала правоту одинокого чудака «с печатью гения на челе». Увы, лавры первооткрывателей достались другим, о Соловьеве никто и не вспомнил.

Нет пророка в отечестве своем

Но то в Европе. Беда Соловьева – и России – в том, что не услышали его дома (как, впрочем, и самого талантливого его оппонента Константина Леонтьева). Не услышали и до роковой войны и революции, и после. И вообще случилось с ним самое худшее, что может случиться с автором великого открытия: открытие просто забыли. На полтора почти столетия. Хотя ему удалось то, что не удалось Леонтьеву: он создал школу. Его «философия всеединства» вдохновила блестящую плеяду мыслителей Серебряного века. И Николай Бердяев, и Сергей Булгаков, и Семен Франк, и Георгий Федотов считали его своим учителем.

Но и тут не повезло Соловьеву. Как философа его боготворили, как политического мыслителя его... не заметили. Даже ученики. В этом, самом важном для него качестве его для них не существовало. Бердяев был прав, конечно, когда писал, что «Соловьевым могла бы гордиться философия любой европейской страны, но русская интеллигенция Соловьева не читала и не знала». Бердяев, однако, читал. И полагал, что знал. Но много ли понял? Вот что писал он о той самой «последней» войне, в которой учитель видел неминуемую гибель петровской России: «Я горячо стоял за войну до победного конца. Я думал, что мир приближается к решению великой исторической проблемы Востока и Запада и что России предстоит в этом решении центральная роль». Признал бы, спрашиваю снова, Соловьев своим учеником Бердяева?

Вот так и остался единственный в истории русской мысли человек «с печатью гения на челе» фигурой трагической и... забытой. Это и принес я зимою 1968 года Чаковскому. Нечего и говорить, что очерк не напечатали. И даже не извинились.

ЛЕКСИКОН РУССКОЙ ИДЕИ

Логика нашего общения, надеюсь, понятна читателю. Сначала я познакомил его с главными героями нашей отрасли знания (истории Русской идеи), то есть с европейским выбором декабристов и его вековой соперницей, самой ее величием Русской идеей: сперва с первым ее воплощением – николаевской официальной народностью, затем со славянофильством, сменившим ее в этом качестве в постниколаевской России. Еще более основательно познакомились мы с самодержцем, создавшим по лекалам Русской идеи тот самый «архаический старый режим», которому суждено было (вспомним Н. В. Рязановского) «обрушиться в пожаре 1917 года». И, конечно, с русскими европейцами, с Чаадаевым, предсказавшим губительность нового в его время обычая «любить родину на манер самоедов» и с Соловьевым, которому удалось в одной краткой формуле очертить путь к «самоуничтожению» великой страны, оказавшейся в плену Русской идеи.



А. Грамши

Осталось нам теперь прежде, чем перейти к хронологическому изложению этого рокового пути, познакомиться с лексиконом Русской идеи, то есть с основными ее понятиями, с ее, если хотите, языком. Кое-что из этих понятий подхватили мы

уже по ходу дела, знаем и про антиевропейское особнячество, и про национальный эгоизм, и про «лестницу Соловьева». Но некоторые ключевые термины, без которых нам в дальнейшем не обойтись, пока темны. Например.

Идея-гегемон

Этот термин позаимствовал я у знаменитого итальянского диссидента Антонио Грамши. К слову, интереснейшим он был человеком, диссидентом, если можно так выразиться, вдвойне. И для фашистов в Италии был он *persona non grata*, и для коммунистов. Крупнейший теоретик марксизма, бывший генсек ЦК КПИ, Грамши провел последнее десятилетие жизни в фашистской тюрьме (он умер в 1937-м). И именно в «Тюремных дневниках» бросил он вызов священной корове ленинизма, теории, согласно которой победить в борьбе за власть могут лишь «партии нового типа», наподобие большевистской.

Грамши противопоставил этому другой опыт. В эпоху реакции, наступившую после мировой войны и победы большевиков в России (он называл ее «междущарствием», *Interregnum*), ИДЕИ (политическая мифология, если хотите), полагал Грамши, важнее устройства партий. Диссидентская идея, завоевавшая умы, овладела в 1922 году властью в Италии. И так же выиграл схватку в идейной войне в 1933-м национал-социализм в Германии. Именно этот феномен политической мифологии, овладевшей умами, и назвал Грамши идеей-гегемоном.

В применении к России все было, конечно, сложнее. Славянофильство, которое никогда не было партией, тем более «нового типа» (всего лишь диссидентской поначалу компанией молодых интеллектуалов), хотя и добилось в постниколаевские времена статуса идеи-гегемона (в том смысле, что одолело в умах большинства декабристскую идею европейского выбора и, по сути, продиктовало курс страны на три поколения вперед), государственной властью не овладело. И тем не менее сумело завести страну в тупик и до самого крушения петровской России власть его над умами оставалась практически безраздельной.

Один пример не оставит в этом сомнений. Попробуйте как-нибудь иначе объяснить, почему в июле 1914 года вполне уже

западнический истеблишмент в Петербурге, оказавшись перед критическим выбором, принял именно славянофильское решение – ввязаться в ненужную России и гибельную для нее войну. Ровно ведь ничего не стояло для России в этой войне на кону. Ничего, кроме славянофильских фикций – давно уже утраченного русского влияния на Балканах, Константинополя и креста на Св. Софии. Даже крест уже на Путиловских заводах успели изготовить. Чем еще, подумайте, можно было оправдать смертельный риск, на который пошла тогда Россия, если не мощью идеи-гегемона, бессознательно усвоенной, как и предсказывал Соловьев, не только ее сторонниками, но и оппонентами?

С другой стороны, объясняет нам мысль Грамши, почему потерпели поражение в 1825 году декабристы в России и в 1848-м революция в Европе. В обоих случаях не завоевала еще тогда идея конституции большинство образованного класса, не стала она идеей-гегемоном. И вообще, выходит, не может добиться успеха никакое общественное движение, не сокрушив сначала оппонентов в войне идей. Вот такой вывод. А теперь

Наполеоновский комплекс России

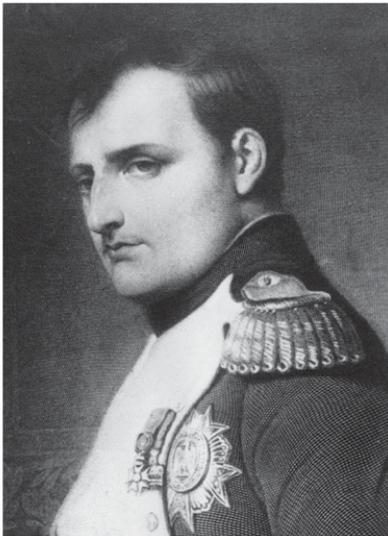
Будем справедливы, речь здесь не о какой-то специфически русской, но об общеевропейской болезни. Страдали ею в свое время все сильные государства, которым выпало историческое несчастье когда-либо побывать на сверхдержавном Олимпе, тем более дважды. Просто никто, кроме России, не строит в современной Европе наполеоновских мифологем вроде «Русского мира» или «Большого рывка» (см. материалы Изборского клуба), и нигде не охватывает эта политическая мифология, подобно лесному пожару, большинство населения страны. Хотя в прошлом такое и случалось. Особенно во Франции, которая может служить своего рода образцом – и первой жертвой – наполеоновского комплекса.

Ведь ее император первым кроил и перекраивал, как хотел, Европу. И никто, кроме укрывшейся за Ла-Маншем Англии, не смел ему перечить. Но даже гениальный Наполеон не смог бы ответить, зачем это нужно было Франции и к чему были все его триумфы, если понадобилось для них положить на

европейских и русских полях целое поколение французской молодежи и ровно ничего не осталось от всей этой помпы, кроме безымянных могил неоплаканных солдат в чужих далеких краях.

Еще удивительней, однако, что даже столь очевидная тщета сверхдержавных триумфов ни на минуту не остановила последователей Наполеона, одного за другим встававших в череду за «первое место в ряду царств вселенной», – ни Николая I, ни Наполеона III, ни Вильгельма II, ни Гитлера, ни Сталина, ни даже Буша. Несмотря на то, что и последнему простаку давно уже ясно: не имеет эта вожденная сверхдержавность постоянной прописки, кочует из страны в страну, с континента на континент, подобно древнимномадам. Странная, согласитесь, особенность нашего мира.

Тем более странная, что болезнь эта имеет коварное свойство давать рецидивы и за первичной ее фазой неминуемо следует вторая, еще более жестокая. Речь о пронзительной национальной тоске об утраченной сверхдержавности. Разве не она, эта неистовая тоска, привела на место Наполеона I Наполеона III, на место Вильгельма II Гитлера, на место Николая I



Наполеон I



И. В. Сталин

Сталина? Если первичная фаза болезни опирается просто на право сильного, то ключевое слово второй – РЕВАНШ.

Со страной, побывавшей на сверхдержавном Олимпе (и неминуемо разжалованной после этого в рядовые), происходит то же самое, что и с человеком, потерявшим, допустим, руку. Руки нет, а она болит. Человек понимает, что боль эта фантомная, но разве становится она от этого менее мучительной? Точно так же переживает фантомный наполеоновский комплекс каждая бывшая сверхдержава. Только в отличие от человека одержима она страстью вернуть утраченное. И, как правило, ей это на время удается. Лишь для того, впрочем, чтобы вновь его потерять.

Вторичная сверхдержавность

Быстрее всех справилась с этим Германия. Уже полтора десятилетия спустя после крушения первого рейха Гитлер стал, подобно Наполеону, хозяином континента. Но триумф его оказался самым кратковременным. И кончился для Германии страшно: победители поделили ее между собой.

Франции понадобилось для реванша три с половиной десятилетия. Париж отдался «маленькому Наполеону» с восторгом, на какие-нибудь два десятилетия он действительно оказался самым влиятельным политиком Европы. Но и этот опыт вторичной сверхдержавности кончился плохо: капитуляцией во франко-прусской войне, гражданской войной и оккупацией.

Медленней всех раскачивалась Россия. Бедные славянофилы, реванш, по сути, и стал для них Русской идеей, но так и не пришлось им его увидеть. Понятно почему. Чем очевиднее завоевывала мир русская культура, тем быстрее толкала страну к «самоуничтожению» Русская идея. И чем жарче разгорались фантомные славянофильские страсти, тем комичнее, как мы еще увидим, они выглядели. Понадобилась великая революция, свежая кровь; «мужицкое царство», маячившее с петровских времен за спиной петербургского истеблишмента, должно было сменить захиревшее царское самодержавие, чтобы исполнилась славянофильская греза.

Но час пришел, и – почти через столетие после крымской капитуляции – сталинская Россия проглотила, не поперхнувшись, половину Европы. Конечно, то был всего лишь погодинский, так сказать, план-минимум – «Великая православная империя», как назвал ее, мы помним, в 1850-е в письме царю автор. До тютчевской мечты о «православном папе в Риме, подданном русского императора в Константинополе» было ей, как до звезды небесной, далеко. Тем более до погодинского плана-максимум, до «универсальной империи», в которой Николай казался ему «ближе Карла V и Наполеона». Все же какая-никакая, но сверхдержава была воссоздана. И опять, как при Николае, Европа перед ней трепетала.

Беда была лишь в том, что, как и во всех других случаях, триумф ее оказался временным. Правда, время гниения постсталинской империи затянулось на два поколения, но зато когда она, наконец, развалилась, ничего, кроме периферийной нефтегазовой колонки с атомными бомбами, от нее не осталось. Короче, кончился однажды фантомный наполеоновский комплекс России точно так же, как французский или германский, – пшиком.

Зачем лексикон?

Коротко, затем, что без него невозможно будет нам разобраться не только в трагической истории постниколаевской России, в которой нам еще предстоит подробно разбираться в этом цикле Русской идеи, но и в цикле советском и, как мы сейчас увидим, постсоветском, вплоть до сегодняшнего дня.

Подумайте, впервые за полное несчастий столетие представился, наконец, России шанс стать нормальным постимперским государством. Шанс избавиться от векового своего одиночества и, подобно бывшим своим коллегам по сверхдержавному клубу, Франции и Германии, вступить равноправным членом в «великую семью европейскую», как завещал ей почти два века тому назад Чаадаев. Неразрешимые для нее после кошмарного советского опыта экзистенциальные проблемы сами собой разрешились бы, окажись она после второго за столетие крушения империи просто частью общеевропейского геополитического пространства.

Говорю я прежде всего о проблемах независимого суда, инновационной экономики и полупустой Сибири (как очевидно-го соблазна для авторитарного соседа с плотностью населения, на порядок превышающей сибирскую). Немыслимо, казалось бы, даже представить себе перспективу более заманчивую. Но что-то помешало России воспользоваться этой уникальной возможностью. Что? Теперь, овладев лексиконом Русской идеи, мы знаем, как это «что-то» называется – фантомный напoleonовский комплекс.

Увы, и сегодня не излечилась от него Россия, несмотря на все ужасы распада империи, несмотря на то, что нет больше у нее за спиной могучего «мужицкого царства», благодаря которому преодолела она крушение петровской державы в 1917-м, несмотря даже на то, что стоит она на этот раз на пороге демографической катастрофы. Все еще фантазируют ее правители, конспирируют, обманывают себя – и мир – идеей полубезумного «Большого рывка», все еще путают величину с величием. И все еще верит им большинство населения.

И, как положено в прошедшей марксистскую школу России, строится это на «научной» основе, на идее академика С. Ю. Глазьева, советника президента по вопросам евразийской (имперской, то есть) интеграции. Идея такова: «Мы стоим на пороге подъема большой повышательной волны [Н. Д. Кондратьева]». Оседлав ее первой, Россия снова будет первой в мире. Один лишь «большой рывок» для этого требуется. Да, академик знает, что понадобится для этого рывка «грандиозное напряжение всех наших сил, мобилизация всех ресурсов». Ключевое слово здесь МОБИЛИЗАЦИЯ. И Изборский клуб, который Глазьев вдохновляет, строит планы этой мобилизации.

Словно память отшибло у этих людей, словно мало еще настрадалась Россия от прошлых мобилизаций и словно привели они хотя бы раз к чему-нибудь, кроме новых страданий и разочарований? Казалось бы, после всего этого страшного опыта пришло время позаботиться не столько об еще одной мобилизации, сколько о выживании, прислушаться к завещанию одного из умнейших своих государственных людей: «В интересах России не следует пытаться играть лидирующую мировую

роль, отойти во второй ряд держав, организовывая тем временем страну, восстанавливая внутренний мир» (Сергей Юльевич Витте). Не прислушались в 1914-м, не пожелали по своей воле отойти во второй ряд. И что же? Безжалостно отшвырнула Россия история не во второй даже, а в третий ряд, и не мировых, а региональных держав. А эти опять за свое?

Боюсь, не поверят мне, если не сошлусь я на неоспоримый факт, на то, что была уже в нашей истории точно такая же идея-гегемон, которая однажды – на финишной прямой Российской империи, незадолго до ее «самоуничтожения» – попробовала пренебречь последним советом Витте и подобно сегодняшним изборцам снова сделать Россию «первой в мире державой». Вот что из этого вышло.

Случилось это с третьим поколением вырождавшегося (согласно «лестнице Соловьева») славянофильства, с тогдашней, повторяю, идеей-гегемоном постниколаевской России. К тому времени, к 1890-м годам, самодержавие превратилось уже практически в полицейское государство. Во всяком случае, Петр Бернгардович Струве назвал свою статью об этих годах «Россия под надзором полиции». Лет за двадцать до этого Иван Аксаков, лидер второго поколения славянофилов, с грустью объяснял свой переход на сторону реакции тем, что «середины больше нет», кто-то же должен был защитить «русскую самобытность» от посягательств либералов.

Третье поколение откровенно потешалось над этой робкой защитной тактикой. Его уже не интересовала «середина» между либералами и всевластием спецслужб: оно ПРЕДСТАВЛЯЛО спецслужбы. И вот что писал один из его лидеров Сергей Шарпов: «За самобытность приходилось еще недавно бороться Аксакову. Какая там самобытность, когда весь Запад уже успел понять, что не обороняться будет русский гений от западных нападений, а сам перевернет и подчинит себе все, новую культуру и идеалы внесет в мир, новую душу вдохнет в дряхлеющее тело Запада?». Ну, прямо как сегодняшние изборцы.

Если кто-нибудь еще не понял, что такое фантомный наполеоновский комплекс, то вот он перед нами. За какие-то двадцать лет эти люди полностью утратили связь с реальностью. «Большой рывок» уже совершился – в их помутившемся

сознании. А они, не забудем, диктовали политический курс страны. Удивляться ли, что в июле 1914 года правительство приняло решение, равносильное «самоуничтожению» петровской России?

Вот же он, живой пример, документально подтверждающий, как смертельно опасно для страны позволить аналогичной идее Глазьева и его Изборского клуба стать гегемоном сегодняшней России? Остановить этот морок можем только мы, русские европейцы. Больше некому. Этому, необходимости жестокой идейной войны, учит нас прошлое, воплощенное в лексиконе Русской идеи.

ПОСЛЕДНЯЯ ОШИБКА ЦАРЯ

• Часть первая •

Лексикон лексиконом, но хронологию Русской идеи тоже никто еще не отменял. И придется нам – несмотря на неминуемые отступления в наши дни или в советское прошлое, которое ожидает нас за ближайшим поворотом, – следовать ее диктату. Мы оставили нашего самодержца, как помнит читатель, ободренным и обрадованным погодинским сценарием извечной якобы русской миссии «уничтожения варварского турецкого владычества в Европе». И готовым действовать незамедлительно. Царь, как известно, не был поклонником дипломатического протокола, почему и решил поначалу покончить с делом одним ударом, поставив Турцию – и Европу – перед фактом.



Въезд императора Александра I с союзниками в Париж. 1814 г.

В феврале 1853 года адмиралу Корнилову велено было готовить флот к десанту в Босфор. Царская инструкция гласила: «Ежели флот в состоянии будет поднять в один раз 16 тысяч человек с 32 полевыми орудиями, при двух сотнях казаков, то сего достаточно будет, чтобы при неожиданном появлении не только завладеть Босфором, но и самим Царьградом. Буде число войск может быть еще усилено, тем более условий к удаче».

Надо полагать, что задуманный Николаем forse majeure вызвал большой переполох в его окружении. Русские дипломаты хорошо помнили полубезумный царский Манифест 14 марта 1848 года, за который потом пришлось извиняться, и повторение скандала было сочтено нежелательным. Царя отговорили. Согласились на том, чтобы сделать султану предложение, которое он не смог бы принять ни при каких обстоятельствах. В канцеляриях принялись рыться в старинных архивах в поисках подходящего предлога. И, представьте, нашли пожелтевшую копию русско-турецкого договора еще екатерининских времен, 1774 года, в котором султан действительно разрешал России вступаться за его христианских подданных в Молдавии и Валахии. Правда, в том же Кучук Канарджийском договоре Россия гарантировала независимость Крыма и тем не менее в 1783 году его грубо и самовольно аннексировала. В связи со столь наглым нарушением договора он считался утратившим силу. Но больше сослаться было не на что.

На протяжении трех поколений договор пылился в архивах. Ни в одном из последующих русско-турецких трактатах, а их было много, о нем не упоминалось. Но то было прежде, когда русские цари, включая Николая, несмотря на «извечную миссию России», горой стояли за султана, защищая его как всякого легитимного государя от его мятежных подданных, включая православных. Другое дело в 1853-м, когда Блистательная Порта вдруг превратилась в «варварское владычество». Короче, султану напомнили, что император всероссийский считает себя лично ответственным за благосостояние его, султана, христианских подданных. И на этот раз не только в Молдавии и Валахии, а на всем протяжении Балкан вплоть до Адриатического моря. Другими словами, русский царь предлагал себя в соправители турецкому султану.

Представьте для сравнения, что сказали бы в Петербурге, потребуй султан права представлять в России СВОИХ казанских, крымских и кавказских единоверцев. Международная дипломатия таких прецедентов не знала со времен Вестфальского договора 1648 года. Требование царя было столь очевидным нарушением тогдашнего миропорядка, что в европейских столицах решили: либо царь сошел с ума и живет в какой-то другой реальности, либо он так неуклюже провоцирует войну. Помня, однако, архаический Манифест 14 марта, там готовились к худшему.

И не зря. Потому что провокация составляла суть погодинского замысла. Вот, пожалуйста: «По отношению к туркам мы находимся в самом благоприятном положении. Мы можем сказать, вы отказываетесь обещать нам действительное покровительство вашим христианам, так мы теперь потребуем освобождения славян – и пусть наш спор решит война».

Беспрецедентной эта провокация была и по другим, еще более важным причинам. Во-первых, после падения Наполеона Россия была непременным членом «концерта великих держав», коллективного, так сказать, руководства Европы. На практике это означало, что во всех критических ситуациях, где на карте стояла судьба того или иного государства, решения принимались «концертом». А тут вдруг обнаружилось, что у России есть особая, партикулярная «миссия», осуществить которую намеревалась она собственноручно – без согласия и тем более участия «концерта». Хуже того, состояла эта миссия, ни больше ни меньше, чем в расчленении другой великой державы. Такое самовольство не дозволялось никому.

А во-вторых, Европа была до смерти перепугана этой николаевской сверхдержавной «миссией». И страх объединил всех – от крайних консерваторов до крайних революционеров. Погодин сам цитировал Адольфа Тьера, известного историка и будущего президента Франции. В его изложении Тьер откровенно паниковал: «Европа, простиись со своей свободой, если Россия когда-нибудь получит в свою власть эти два пролива» (Босфор и Дарданеллы, контролируемые Турцией). Маркса Погодин, конечно, не цитировал, но в панике тот был ничуть не меньше ненавистного ему Тьера. «Если

Россия овладеет Турцией, – писал он, – ее силы увеличатся почти вдвое, и она окажется сильнее всей остальной Европы вместе взятой. Такой исход дела был бы неопишым несчастьем для революции».

Пролегомены

Но протесты Европы только убедили Николая, что он на правильном пути. «Наши враги только и ждут, – подзуживал его Погодин, – чтобы мы обробели от их угроз и отказались от миссии, нам предназначенной со времени основания нашего государства». Само собою, представление о бывших партнерах по «концерту» как о врагах прямо вытекало из того морально-го обособления России от Европы, о котором говорил Чаадаев. Его опасение, что оно может перерасти в противостояние политическое, оправдывалось на глазах. В глазах Европы это был не только беспредел, но смертельно опасный беспредел. Если верить авторитетному мнению Тьера, защищая Турцию, она защищала свою свободу.

Почва для диалога исчезала из-под ног. Петербургский бомонд шел освобождать православных братьев по вере, царь утверждался в своем сверхдержавном праве, Европа трепетала за свою свободу, как тут было договориться? События между тем развивались стремительно. 28 февраля 1853 года морской министр Александр Меншиков был отправлен в Стамбул с ультиматумом. На размышление было дано восемь дней. 1 марта Порты обратилась за посредничеством к «концерту». 7-го Меншиков отбыл из Стамбула с пустыми руками. 14 июня в Петергофе издан был царский Манифест, из которого Россия – и мир – узнали, что «истощив все убеждения и с ними все меры миролюбивого удовлетворения наших справедливых требований, признали мы необходимым двинуть войска наши в придунайские княжества, дабы показать Порте, к чему может вести ее упорство».

Европейский «концерт» потребовал международной конференции без предварительных условий, считая, что начинать переговоры с оккупации турецкой территории (придунайские княжества были протекторатом Турции) было несколько, как

бы это поддипломатичнее сказать, преждевременно. Царю давали время одуматься. Но, как писал впоследствии тот же Меншиков, «государь был словно пьян, никаких резонов не принимал, был убежден в своем всемогуществе». Русские войска не только не ушли из княжеств, но и переправились через Дунай.

И – наткнулись на стойкое сопротивление турок. У тех было больше нарезных ружей, и стреляли они лучше. После очередного сражения Николай был близок к отчаянию. «Ежели так будем тратить войска, – писал он командующему М. Д. Горчакову, – то убьем их дух и никаких резервов не хватит». Тут был, казалось, еще один повод одуматься: если его войска не могли один на один одолеть турок в поле, то как будут они выглядеть против европейских армий, если Европа всерьез рассердится? Не мог же он на самом деле вообразить, что ему позволят безнаказанно расчленивать соседнюю державу. Так, надо полагать, рассуждали европейские дипломаты. Но царь уже закусил удила. Тем более что «патриотическая» публика была от войны в восторге.

«От всей России войне сочувствие, – писал С. П. Шевырев, – таких дивных и единодушных наборов еще не бывало. Посылают Апполонов Бельведерских... Крестовый поход. Война и война, нет слова на мир». По словам Анны Федоровны Тютчевой, хорошо осведомленной фрейлины цесаревны, жены наследника, «молодежь с восторгом рвется в бой. Великие князья Михаил и Николай в совершенном восторге». Более того, так чувствовал и сам цесаревич, будущий Александр II. Он тоже радовался, что «сбывается предсказание, которое предвещает на 54-й год освобождение Константинополя и восстановление храма Св. Софии». Чем это все должно было кончиться? Чаадаев и тут не ошибся, когда писал: «результат был тот, что в один прекрасный день авангард Европы очутился в Крыму».

Пощечина «Джону Булю»

Тем более неизбежен был этот результат, что Николай, которому позарез нужна была громкая победа, способная затмить известия о вялотекущем конфликте на Дунае, сделал совсем

уж непопозволительную глупость: даже не посоветовавшись со своими дипломатами, он распорядился начать морскую войну. Распорядился вопреки предостережению Англии, что она гарантировала туркам безопасность их портов. 18 ноября адмирал Нахимов вошел на рейд Синопа и потопил турецкий флот. «Патриотическая» публика была вне себя от восхищения синопской победой. Наивная, она была уверена, что уж эта победа «посбавит спеси у Джона Буля», как презрительно именовали тогда в России англичан.

«Нахимов молодец, – писал Погодину С. Т. Аксаков, – истинный герой русский». Адресат был в экстазе: «Самая великая и торжественная минута наступила для нас, какой не бывало, может быть, с Полтавского и Бородинского дня». Патриотических стихов появилось несчетно, Тютчев, конечно, тоже отметил:

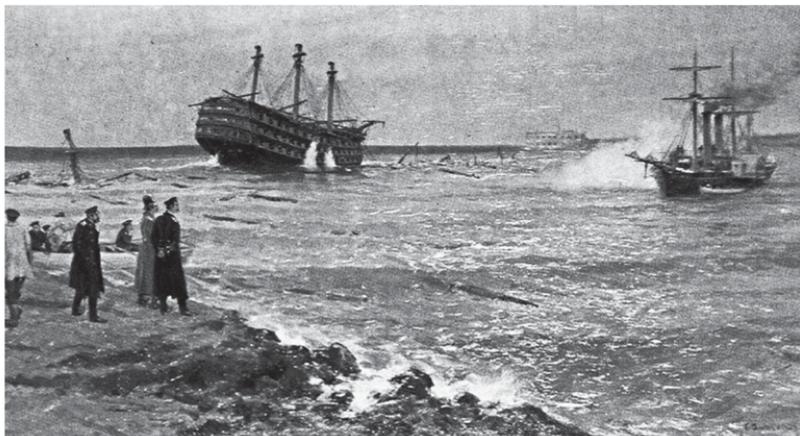
Вставай же Русь! Уж близок час!
Вставай Христовой службы ради!
Уж не пора ль, перекрестясь,
Ударить в колокол в Царьграде?

Существуй в ту пору рейтинги общественного мнения, рейтинг царя без сомнения зашкалил бы за 90 %.

На самом деле это было начало конца. Победа Нахимова поставила под удар коалиционное правительство в Лондоне, в котором преобладали настроенные против войны с Россией тори. «Меня обвиняют в трусости, – жаловался премьер лорд Абердин русскому послу, – в том, что я изменил Англии ради России. Я больше не могу бороться, я не смею показаться на улице». И, правда, принца Альберта, мужа королевы Виктории, тоже антивоенного активиста, на улице освистали. Некоторое время спустя после Синопа у власти в Лондоне был уже далеко не столь щепетильный лорд Пальмерстон. И был подписан немыслимый до Синопа договор с Францией. Можно с уверенностью сказать: все, что произошло дальше между Россией и Европой, – гибель русского флота, высадка союзных войск в Крыму, штурм Севастополя, капитуляция России и «позорный мир» 1856 года – все произошло из-за нелепой пощечины, которую по дурости отвесил Николай «Джону Булю» при восторженных рукоплесканиях «патриотической» публики.

Во всяком случае, когда в декабре 1853 года вошла в Черное море англо-французская эскадра, ее командир приказал всем русским военным судам стоять на якорях – под угрозой уничтожения. И не посмели ослушаться. Куда было парусникам XVIII века против броненосных пароходов союзников? Даже самый замшелый «патриот» мог бы, казалось, догадаться, что ничем другим ноябрьский триумф Нахимова не мог закончиться. И все-таки отдал царь роковой приказ своему адмиралу. Все-таки, вопреки всякой логике, продолжал пугать – и провоцировать – Европу. Поистине прав был Меншиков: «словно пьян» был в 1853 году Николай.

Но и тогда еще не поздно было предотвратить европейскую войну. 4 февраля в личном письме к царю Наполеон III обещал, что в случае перемирия с Турцией и эвакуации русских войск из придунайских княжеств союзный флот немедленно покинет Черное море и инцидент можно будет считать исчерпанным. Явно не хотела Франция воевать из-за Турции. Николай ответил издевательски, что «Россия сумеет и в 1854 году показать себя такой же, какой она была в 1812-м». Ждите, мол, опять казаков в Париже. А когда лондонский и парижский кабинеты официально потребовали удаления русских войск из княжеств до 30 апреля, Нессельроде высокомерно заявил, что Его Величество не считает нужным им отвечать.



Затопление русского флота в Севастополе. Художник И. Владимиров

Интрига

Как видим, сомнений в том, кто спровоцировал эту последнюю ошибку царя, известную в потомстве как Крымская война, быть, казалось бы, не может. Все очевидно, все прозрачно, все документы на столе. Никто их не оспаривает, да и как их оспоришь? То, что следовал этот неожиданный и агрессивный поворот России из ее морального обособления от Европы при Николае, тоже вроде бы неоспоримо: возможность его перерастания в политическое противостояние предсказал еще Чаадаев. В моих терминах это означает, что «в уничтожении варварского турецкого владычества в Европе», в переделе, другими словами, Европы, Россия нашла, наконец, адекватную форму реализации своего наполеоновского комплекса. Можно оспаривать мои термины, но нельзя оспаривать факты.

Но – и в этом бесподобная интрига всей этой истории – консервативный сектор дореволюционной русской историографии и, что еще интереснее, вслед за ним историография советская **КАТЕГОРИЧЕСКИ НАСТАИВАЛИ**, что Крымскую войну развязала Европа. Приняли, иначе говоря, версию семьи Тютчевых, что от начала до конца была Крымская война заговором Европы против России. Что общего у этой фантастической версии с действительностью, придется нам с читателем разбираться уже в следующей главе.

ПОСЛЕДНЯЯ ОШИБКА ЦАРЯ

• Часть вторая •

По мере воцарения в СССР сталинизма популярным толкованием Крымской войны все больше становилась, как мы уже говорили, версия семейства Тютчевых, предложенная в середине XIX века. Звучала она примерно так: исконная миссия России «вырвать христианские народности из-под власти гнусного ислама», привела к тому, что Европа «набросилась на нас как бешеная» (А. Ф. Тютчева). В результате «мы в схватке со всей Европой, объединившейся против нас общим союзом. Союз, впрочем, неверное выражение, настоящее слово – заговор. В истории нет примера гнусности, замысленной и совершенной в таких масштабах» (Ф. И. Тютчев). Как свидетельствуют документы, цитированные в первой части этой главы, в тютчевской версии *нет ни слова правды*. Попробую показать это по пунктам.

Во-первых, в 1847 году издан был, как мы помним, «по высочайшей воле» рескрипт министра народного просвещения,



Синопский бой. Художник И. К. Айвазовский

предписывавший России забыть о зарубежном славянстве, «уже окончившем свое историческое существование». Правдоподобно ли в таком случае, что Николай развязал войну, да что войну, крестовый поход (!), ради этого «исторически несуществовавшего», по его мнению, славянства? Не логичнее ли предположить, что причиной войны были фиаско 1848-го и соблазнительный сценарий Погодина о переделе Европы?

Во-вторых, коалицию против Наполеона 1813 года тот же Тютчев почему-то назвал в письме Густаву Колбу, редактору Аугсбургской Allgemeine Zeitung, вовсе не заговором против Франции, тем более «гнусностью», а совсем даже наоборот, «славной общеевропейской войной против тирана». Каким же, спрашивается, образом аналогичная коалиция 1853 года превратилась в его устах из «славной войны» в «гнусность»?

В-третьих, отдав в ноябре 1853 года приказ Нахимову потопить турецкий флот в Синопе, Николай «потопил», можно сказать, антивоенное правительство в Лондоне, создав, таким образом, англо-французскую коалицию собственными, если хотите, руками. Так логично ли винить в этом Европу?

В-четвертых, Николай не вывел войска из придунайских княжеств, когда Наполеон III предложил ему в феврале 1854-го покончить дело миром. Одного ведь этого было достаточно, чтобы «заговор» не состоялся. Так кто был инициатором этой «гнусности» – Европа или Россия?

В-пятых, наконец, самый очевидный, наивный даже, если хотите, вопрос: кто все это затеял? Кто – Россия или Европа – собрался расчленить Оттоманскую империю, растянувшуюся от Египта до Балкан и включавшую практически весь Ближний Восток? И кто подстрекал на это Николая, соблазняя его перспективой неслыханного расширения царства русского? Чьи, короче, это стихи:

Семь внутренних морей и семь великих рек,
От Нила до Невы, от Эльбы до Китая,
От Волги по Евфрат, от Ганга до Дуная
Вот царство русское?

Другое дело, что в 1854-м Николаю и впрямь было не до всех этих соблазнов. Он уже понял, что просчитался: двигаться вперед из-за яростного сопротивления турок оказалось

труднее, чем он рассчитывал, а отступить в той атмосфере крестового похода и патриотической истерии, которую сам же он в стране и создал, означало бы потерять лицо. Ситуация вышла из-под его контроля. Мог ли он забыть отбой, когда для славянофилов, по свидетельству Б. Н. Чичерина, «это была священная война» и со дня на день ожидалась «окончательная победа нового молодого народа над одряхлевшим миром Запада»? Когда Погодин, отражая настроение перевозбужденной публики, увещевал Европу: «Оставьте нас в покое решить наш исторический спор с Магометом, спор у нас с ним Божий, а не человеческий»?

Ну, подумайте, как мог в таких условиях отступить под давлением этого самого «одряхлевшего мира» Николай и как, с другой стороны, должна была звучать эта московитская абракадабра для европейского уха? Повторялся скандал с Манифестом 14 марта 1848 года (вспомните: «Разумеете языци и покоряйтесь, яко с нами Бог!») – с той лишь разницей, что на этот раз, уже развязав «священную войну» в Европе, извинением не отделаешься. Николай сам себя загнал в ловушку.

Да, он, в конечном счете, отступил, когда выяснилось, что все крупные державы Европы, включая ближайшую союзницу Пруссию и, как он считал, по гроб жизни ему обязанную за подавление венгерского восстания Австрию, от него отвернулись, и Россия вдруг оказалась в такой же безнадежной изоляции, как в 1848-м. Это тогда он сказал немислимую в его устах фразу: «Скорее Польшу отпущу на волю, чем забуду австрийскую измену». Австрия угрожала ударить во фланг наступающей русской армии, если она не очистит дунайские княжества. С тех самых пор русские «патриоты» не называли ее иначе, чем «Иуда-Австрия».

Николай отступил – и единственное, что ему теперь оставалось, чтобы окончательно не потерять лицо в глазах «патриотов», это – какова ирония! – революция. Речь шла о том, чтобы послушать Погодина и присоединившегося к нему наместника Польши фельдмаршала Паскевича – и поднять против султана балканских славян. Паскевич, впрочем, был тактичнее Погодина и старался шадить контрреволюционные чувства своего государя. «Меру сию нельзя, – писал он царю, – смешивать со

средствами революционными. Мы не возмущаем подданных против их государя [?], но если христиане захотят свергнуть с себя иго мусульман, то нельзя без несправедливости отказать в помощи нашим единоверцам».

Вот и были разосланы по всему полуострову русские агенты – поднимать славян на революцию против султана. У меня нет здесь возможности входить в подробности этого подстрекательства. Скажу лишь, что и последняя попытка Николая спасти лицо окончилась неудачей, не поднялись славяне. Не поверили, что православный царь, десятилетиями убеждавший их подчиняться своему законному государю, даром что государь этот был басурманский султан, вдруг решил их освободить. Заподозрили подвох, провокацию. Не удалась Николаю роль революционного агитатора. Потому и говорю я обо всем его предприятии по переделу Европы как о последней ошибке царя. Если это вызовет у современного читателя какие-либо неуместные ассоциации, то все претензии к царю. Я лишь рассказываю, как это было в середине XIX века.

Возможно, впрочем, что сорвалось дело из-за его откровенного цинизма. Во всяком случае, Погодин, например, в отличие от экзальтированных славянофилов, и не думал его скрывать. Так и писал: «наше счастье, а не беда, если с исполнением священного долга соединятся и вещественные выгоды и если, по мере побед над Магомедом, увеличится и наше политическое могущество». Чего вы от нас хотите, отвечал он на европейские призывы к здравому смыслу, «чтобы мы, пред увенчанием наших трудов и подвигов, выпустили из рук *законную добычу*? И в страхе от ваших угроз, смиренно предоставили *святое дело* вашим барышникам (курсив мой. – А. Я)»?

Реванш Русской идеи

Вот эту гремучую смесь «святого дела» и «законной добычи» поднял в советское время на щит В. В. Кожинов, возродив тютчевскую версию о Крымской войне как о «заговоре против России». Но Кожинов был откровенным националистом, державником, чем-то вроде сегодняшнего Дугина, и вдобавок еще трубадуром Черной сотни, с него спрос невелик.

Как, однако, быть с тем, что уже в постсоветское время почтенный профессор В. В. Ильин тоже трактовал николаевскую провокацию как «войну империалистической Европы против России», как ее «последний колониальный поход на Россию»? И с тем, что не менее почтенный профессор В. Н. Виноградов уверял публику, будто «причиной Крымской войны была отнюдь не мнимая [?] агрессия России против Османской империи». А что? Доктор исторических наук А. Н. Боханов объясняет, повторяя тютчевскую версию: «Интересы России добиться освобождения православных народов противоречили интересам других держав».

У меня нет под рукой сочинений нынешнего министра культуры В. Р. Мединского, но все шансы за то, что та же мистификация фигурирует и в них. Едва ли можно усомниться, что она же будет повторена и в готовящемся едином учебнике истории России. Трудно отделаться от впечатления, что патриотическая истерия, затеянная Николаем I полтора столетия назад, продолжалась не только в советское время, она продолжается и в наши дни. Только, увы, не оказалось в советские времена – и, боюсь, нет сегодня – откровенного *enfant terrible* как М. П. Погодин, который честно признал бы, до какой степени неотделима была в николаевской провокации «законная добыча» от «святого дела».

У меня нет, честно говоря, другого объяснения этой неожиданной мутации славянофильских страстей в совершенно, казалось бы, чуждой им современной среде, кроме реванша Русской идеи. В стране, по-прежнему, как в царские времена, морально обособленной от Европы, тем более противопоставившей себя Европе, она неминуемо должна была, в конце концов, опять оказаться идеей-гегемоном, пусть на этот раз с подложным коммунистическим паспортом. Пожалуй, единственной партией, которая после крушения СССР интуитивно поняла, что в сталинском СССР и сам «коммунизм» преобразовался в Русскую идею, была зюгановская КПРФ.

Нет спора, Русская идея с николаевских времен сильно изменилась, впитав в себя радикальные элементы социализма, элементы, применимые и в других странах, но, по сути, осталась тем, чем была всегда, – вызовом европейской цивилизации,

попыткой насильственно изменить мировой порядок, усадив на престолы зависимых от России стран если не русских великих князей, как было задумано в дореволюционные времена, то коммунистических проконсулов, а в постсоветское время – и просто наемников.

Да, руководясь этой идеей-гегемоном, Россия способна была усваивать вершки европейской цивилизации (и за их счет даже вскарабкиваться порою, как показал опыт СССР, на сверхдержавный Олимп). Но поскольку она принципиально отрицала ее «корешки», фундаментальные ее основы, обречена была российская (советская) империя, в конечном счете, снова и снова отставать и распадаться. Впрочем, мы уже вторглись на территорию дальнейших циклов этой работы, тех, что посвящены приключениям Русской идеи в советские и в постсоветские времена.

«Пятая колонна»

Все, что осталось мне здесь, это разобраться в том, каким образом, при помощи каких аргументов удалось советским (и постсоветским) историкам взвалить вину за Крымскую войну на Европу. На поверку оказывается, что таких аргументов всего два. Первый, как мы уже говорили, заимствован у Тютчевых: Россия пыталась ОСВОБОДИТЬ угнетенных единоплеменников, а Европа ответила на нашу благородную попытку восстановить справедливость «колониальным походом против России». На этот аргумент, как мы только что видели, уже ответил Погодин. Единственное, что было в нем фальшью, это умолчание о «законной добыче», на которую рассчитывала в результате такого «восстановления справедливости» Россия. А также о том, что понадобилось бы для этого перевернуть весь существовавший миропорядок, переделить Европу.

Второй аргумент сложнее. Тут требовалось доказать, что Европа сама толкнула Николая на войну против Турции при помощи своей «пятой колонны», глубоко внедренной в руководство России. На первый взгляд это выглядит каким-то конспирологическим абсурдом. Но тут и вытаскивался козырный туз – независимое объективное исследование Крымской войны

академиком Е. В. Тарле. Первым, насколько я знаю, выдвинул этот аргумент тот же В. В. Кожин. И в устах профессионального конспиролога звучал он вполне правдоподобно. Меня это мало сказать заинтересовало, завело.

Как, в самом деле, мог быть замешан в эту мистификацию изысканный интеллеktуал, историк Божьей милостью, человек, дороживший своей международной репутацией, осмелившийся даже в разгар дикой сталинской кампании против «безродных» публично попросить на лекции не делать ударение в его фамилии на последней букве. Не делать потому, что он не француз, а еврей. Я не могу, конечно, достоверно знать, почему Евгений Викторович согласился со вторым изданием своего двухтомника о Крымской войне именно в 1952 году, когда в стране бушевало «дело убийц в белых халатах» и сталинская паранойя достигла пика. Могу лишь предположить, что поверхностное толкование двухтомника могло очень даже понадобиться Сталину, если он и впрямь задумал «ночь длинных ножей» для своего ближайшего окружения.

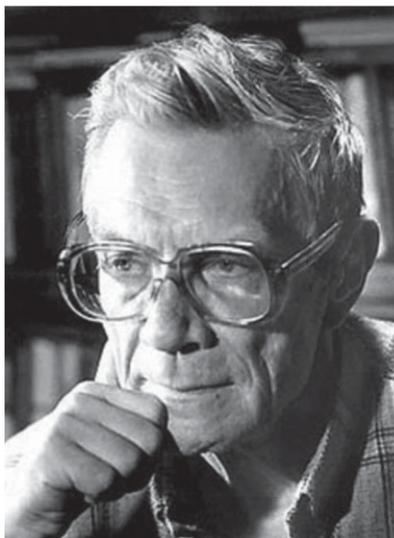
Звучал бы при таком толковании двухтомник как независимое историческое подтверждение, что царь во всей этой позорной крымской эпопее не виноват. Его обманули. Причем обманывали на протяжении многих месяцев именно ближайшие его сотрудники. Будь это правдой, Николай столкнулся с прямым предательством – в Зимнем дворце (!). Соблазнительное, согласитесь, толкование. В особенности для Сталина, который всегда любил исторические аналогии.

Давал двухтомник Тарле повод для такого толкования? Без сомнения. Е. В. нашел бесспорные доказательства: русский посол в Лондоне доносил в Петербург, что Англия, покуда у руля в ней антивоенные тори, не будет воевать против России. И это было чистой правдой. Вот что, например, говорил послу торийский премьер лорд Абердин: «Я не согласен кончить мою карьеру революционной и подрывной войной. Мое решение твердо: я эту войну вести не буду, пусть ее ведет кто-нибудь другой». Не мог же посол предположить, что его государь по неизреченной своей глупости, а также по совершенному непониманию того, как работает парламентская система, «свергнет» благожелательное к России правительство и практически приведет к

рулю именно того «другого», самого популярного тогда в Англии политика лорда Пальмерстона, который эту войну спал и видел.

Тарле также нашел, что русские послы в Пруссии и Австрии доносили, что ни та ни другая не намерены вмешиваться в русско-турецкую войну. И это тоже было правдой: не могли же в Берлине и Вене предугадать, что речь пойдет о войне вовсе не против Турции, но за передел Европы. Можно себе, однако, представить, что сделал из этих донесений, собранных добросовестным, но не понявшим внезапный поворот в политике царя исследователем, опытный конспиролог Кожинов.

Русские послы, объяснил он, сознательно дезинформировали царя, вот что. Причем делали это с благословения, а то и по прямому указанию самого канцлера Нессельроде, вернейшего оруженосца императора на протяжении десятилетий (Нессельроде руководил внешней политикой России с 1822 года, был чем-то вроде Молотова при Сталине). Мудрено ли, что Николай заключил из этого: с Турцией он может делать все, что ему заблагорассудится? Вот на каком абзаце из книги Тарле базировал свои заключения Кожинов: «И барон Бруннов в Лондоне, и Мейендорф в Вене, и Киселев в Париже, и даже Будберг в



В. В. Кожинов



Е. В. Тарле

Берлине следовали указаниям своего шефа-канцлера и писали иной раз не то, что видели их глаза и слышали их уши, а Нессельроде собирал эти сведения и подносил их Николаю».

Нормальный человек первым делом спросил бы, что могли выиграть от дезинформации императора все эти преуспевающие карьерные дипломаты и тем более их шеф, кроме стыда и позора, и, быть может, каторги. Зачем это было им нужно? Но для черносотенного конспиролога все было как на ладони. Дипломаты-то все, как на подбор, с НЕРУССКИМИ фамилиями (Киселева он, понятное дело, из этой цитаты аккуратно удалил), а Нессельроде был и вовсе немецкий еврей. Других доказательств, что царь имел дело с «пятой колонной» не требовалось. Нормального человека, однако, это должно было поставить в тупик.

Меня, признаюсь, поначалу поставило. Не помог и доклад Александра Дугина Изборскому клубу, посвященный «пятой колонне» на вершине власти (на сегодняшнем, разумеется, материале). Напомню, Дугин – в прошлом выпускник черносотенной «Памяти» первых лет перестройки, а ныне профессор социологии МГУ – лидер конспирологического крыла Изборского клуба. Вот его выкладки: «Нам подчас хотят изобразить, что пятая колонна только в либералах и в «маршах несогласных», но это лишь самая откровенная вершина айсберга. Более того, это ложная цель. Самые серьезные сети влияния, направленные на десоверенизацию России, находятся среди тех, кто близок Путину, кто с ним работает, кто предопределяет выработку его стратегии. Вот где настоящий заговор».

Короче, заключил Кожинов, «заговорщиками» действительно были самые близкие к царю люди, работавшие бок о бок с ним. Как в случае Николая, так и в случае Сталина, Разве не факт, что ревизия сталинской политики началась тотчас после его смерти (точно так же, как, заметим в скобках, началась она тотчас после смерти Николая). И все-таки Кожинов лукавит. Ничего эти «близкие» при жизни царя не предопределяли. Не посмели бы. Во всяком случае, никто в окружении Николая не посмел, пока он был жив, противоречить его решению наказать Турцию за то, что она не приняла его ультиматум, сколь бы нелепым он им не казался.

Другое дело, что наказать Турцию можно было, и не вызвав взрыв негодования и страха в Европе. Например, отняв у нее Карс или Эрзерум или оккупировав любую часть ее территории в Азии. Это и советовали ему авторитетные дипломаты с вполне русскими фамилиями, как А. Ф. Орлов или П. Д. Киселев. (Именно за это рассердился на государя Меншиков и писал, как мы помним, что тот был «словно пьян и никаких резоннов не принимал»).

А «резонны» были как раз те, о каких доносили из европейских столиц дипломаты с нерусскими фамилиями: никто в Европе и пальцем не пошевелил бы, буде Николай накажет Турцию на азиатском театре. Бесспорную правду они доносили – в надежде, что у Нессельроде и Меншикова достанет влияния убедить Николая не повторять скандальную историю Манифеста 14 марта 1848 года, не начинать войну в Европе и тем более не бросать вызов Англии, уничтожив турецкий флот в порту Синопа вопреки английским гарантиям. Увы, недостало у них влияния. Никаких резоннов, включая донесения из европейских столиц, не принимал самодержец. И понятно почему. Желал объявить городу и миру, что идет не наказывать Турцию, а устанавливая «Новый порядок» в Европе, тот самый *Novus nascitur ordo*, о котором нашептал ему Погодин. И впрямь был «словно пьян».

А Тарле что ж, сосредоточившись на дипломатических документах, упустил историк из виду как характер царя, так и, что еще важнее, внезапный поворот его политики, тот самый, что действительно предопределил его стратегию. Ошибся. И на старуху бывает проруха. Так или иначе, все без исключения аргументы советских и постсоветских историков, опирающиеся как на «освобождение православных» (которые в освободительную роль России не поверили), так и на мифическую «пятую колонну», якобы обманувшую царя, не говоря уже о «заговоре против России», оказались на поверку шиты белыми нитками.

Простая правда всей этой истории состояла в том, что самодержец, намеревавшийся воевать во имя своей химерической цели передела Европы «до последнего рубля в казне и последнего человека в стране», не смог бы пережить капитуляции

России и «позорного мира», которым она должна была закончиться. И потому он ушел. Но Россия осталась. И вопросы, стоявшие перед ней после его ухода, были совсем не те, что заботили его. На некоторые из них она попыталась ответить. Другие так и не посмела задать.

НЕЗАДАННЫЕ ВОПРОСЫ

Копья в прессе времен Великой реформы ломались главным образом из-за того, как освобождать крестьян – с выкупом или без выкупа, с существующим земельным наделом или с «нормальным», то есть урезанным в пользу помещиков. Короче, из-за того, превратятся ли крестьяне в результате освобождения из крепостных рабов в «обеспеченное сельское сословие», как обещало правительство, или, напротив, «из белых негров в батраков с наделом», как предсказывали оппоненты.

И за громом этой полемики прошло как-то почти незамеченным, что «власть над личностью крестьянина сосредоточивается в мире», то есть в поземельной общине. Другими словами, как заметил историк Великой реформы, «все те государственно-полицейские функции, которые при крепостном праве выполнял даровой полицмейстер, помещик, исполнять должна была община».

Интересный человек поставлен был императором во главе крестьянского освобождения. Еще недавно, при Николае, генерал Яков Ростовцев публично объяснял, как мы помним, что «совесть нужна человеку в частном домашнем быту, а на службе ее заменяет высшее начальство». Теперь он писал: «Общинное устройство в настоящую минуту для России необходимо. Народу нужна еще сильная власть, которая заменила бы власть помещика» Выходит, мир и впрямь предназначался на роль полицмейстера. В глазах закона крестьянин оставался мёртв. Он не был субъектом права или собственности, не был индивидом, человеком, если угодно. Субъектом был «коллектив», назовите его хоть миром, хоть общиной, хоть колхозом. Мудрено ли, что историк реформы так комментировал это коллективное рабство: «Мир как община времен Ивана Грозного гораздо больше выражал идею государева тягла, чем право крестьян на самоуправление».

Ничего этого, впрочем, не узнали бы мы из писаний славянофилов. Именно в вопросе закрепощения крестьян

общинами впервые испытали они силу будущей «идеи-гегемона». Ибо коллективизм, в котором без остатка тонула личность крестьянина, как раз и был, по их мнению, «высшим актом личной свободы». Как писал Алексей Хомяков, «мир для крестьянина есть как бы олицетворение его общественной совести, перед которым он выпрямляется духом; он подерживает в нем чувство свободы, сознание его нравственного достоинства и все высшие побуждения, от которых мы ожидаем его возрождения».

Я не стану возражать, если читатель сочтет, что в славянофильских тирадах явственно ощущается что-то от «1984» Джорджа Оруэлла: «Рабство есть свобода». Особенно если сопоставить их со свидетельством очевидца. Александр Энгельгардт был не только профессором, но и практикующим помещиком. В своих знаменитых «Письмах из деревни», бестселлере 1870-х, он буквально стер славянофильский миф с лица земли. Вот как выглядели «высшие побуждения» крестьянина в реальности.

«У крестьян крайне развит индивидуализм, эгоизм, стремление к эксплуатации. Зависть, недоверие друг к другу, подкапывание одного под другого, унижение слабого перед сильным, высокомерие сильного, поклонение богатству... Кулаческие идеалы царят в ней [в общине], каждый гордится быть шукой и стремится пожрать карася. Каждый крестьянин, если обстоятельства тому благоприятствуют, будет самым отличнейшим образом эксплуатировать другого, все равно крестьянина или барина, будет выжимать из него сок, эксплуатировать его нужду». И это писал один из известнейших народников своего времени.

Не одни лишь эмпирические наблюдения, однако, противоречили славянофильскому мифу. Противоречила ему и наука. Крупнейший знаток истории русского крестьянства Борис Николаевич Чичерин с документами в руках доказал, что, «нынешняя наша сельская община вовсе не исконная принадлежность русского народа, а явилась произведением крепостного права». В ответ славянофилы заклеили Чичерина русофобом, «оклеветавшим древнюю Русь». Настоящая загадка, впрочем, в другом.

О двух Россиях

В том она, что никто не задал элементарный вопрос: куда идет страна, если крестьянина лишали гражданских прав в тот самый момент, когда образованная Россия эти права обретала (городские Думы, независимый суд, отмена телесных наказаний), страшно углубляя пропасть между двумя Россиями – европейской и средневековой, петровской и московитской, увековечивая, по сути, «власть тьмы» над большинством русского народа? С прежде господской, а ныне общинной конюшней как главным средством просвещения? Великий вопрос о *воссоединении России* или, что то же самое, о европеизации страны, поставленный перед страной декабристами, был напрочь забыт. Вчерашние национал-либералы, славянофилы, оказались на поверку обыкновенными *националистами*. Во имя «искусственной самобытности» (выражение Владимира Соловьева) они сжигали мосты между их собственной европейской Россией с ее Пушкиным и Гоголем и неграмотным «мужицким царством», не подозревавшим ни о Пушкине, ни о Гоголе. Сжигали, другими словами, мосты между Россией и Европой.



Начиная с декабристов, либералы настаивали, что одно лишь просвещение может уничтожить пропасть между двумя Россиями. Националисты, с другой стороны, утверждали, что никакой пропасти нет и ни в каком просвещении нужды нет. Ибо, если послушать Достоевского, «народ наш просветился уже давно, приняв в свою суть Христа и его учение». Тем более что по вдохновенному утверждению Константина Аксакова, «вся мысль страны пребывает в ее простом народе» и, (повторим) как свято верил Юрий Самарин, «единственный приют торизма в России черная изба крестьянина». Нисколько не смущало их, что, по словам Михаила Бакунина, «народ наш, пожалуй, груб, безграмотен, но зато в нем есть жизнь, есть сила, есть будущность – он есть. А нас, собственно, нет, наша жизнь пуста и бесцельна». И словно восклицательный знак ставил после всего этого каскада песнопений «народу» и самоуничужения интеллигенции тот же Достоевский: «Мы, то есть интеллигентные слои нашего общества, теперь какой-то уж совсем чужой народик, очень маленький, очень ничтоженький».

Но вот парадокс: спросите сегодня любого грамотного человека, чем гордится перед миром Россия? Крестьянской общиной? Черной избой крестьянина? «Христовым просвещением»? Или тем, что создано этим «ничтоженьким народиком», то есть интеллигентами – Толстым, Чеховым, Чайковским, Левитаном? Ответит, не задумываясь. Почему бы это, как вы думаете? Еще один незадаанный вопрос. Вернемся, однако, к нашим баранам.

Пользуясь своим преобладанием в редакционных комиссиях, славянофилы без особого труда навязали свой выбор не только правительству, и без того, как мы видели, мечтавшему о новом полицмейстере для крестьян, но и западникам. То был первый случай, когда национализм выступил в роли «идеи-гегемона», подчинив своему влиянию практически всю элиту страны. А «мужицкая Россия»... Что ж, мало того, что ее обобрали, так еще и заперли в своего рода гетто с его особыми средневековыми законами. Полвека должно было пройти, прежде чем Витте и Столыпин догадались спросить, не ведет ли такое своеобразное устройство страны к новой пугачевщине?

Ну ладно, славянофилы не задали этот судьбоносный вопрос на перекрестке

1850–1860-х потому, что были пленниками своего московитского мифа. Но западники-то, русские европейцы, почему его не задали? Вот мое объяснение. Наследники нестяжателей XVI века, сочувствовавшие, как мы знаем, всем униженным и оскорбленным западники тяжело переживали разгром европейской революции 1848 года. Они отчаянно искали свидетельство того, что – несмотря на победившую в Европе реакцию – у справедливого дела трудящихся все-таки есть будущее. И с помощью славянофилов они его нашли. Разумеется, в России. И, разумеется, в том же крестьянском мире. Основополагающий политический вопрос был подменен вопросом о социальной справедливости. Так нечаянно оказались в одной лодке со славянофилами и либеральные западники, как Герцен, и радикальные, как Бакунин.

И чего только не придумывали они о бедном своем, запертом в общинном гетто народе! Послушайте хотя бы умнейшего, но ослепленного, как все они, Герцена: «На своей больничной койке Европа, как бы исповедуясь или завещая последнюю тайну, скорбно и поздно приобретенную, указывает как на единый путь спасения именно на те элементы, которые сильно и глубоко лежат в нашем народном характере». Это в открытом письме царю! Самодержавная Россия, вчерашний «жандарм Европы», приглашалась на роль ее спасителя? Согласитесь, все это должно было выглядеть странно в глазах европейцев. Тем более с абстрактной ссылкой на «народный характер». Вечно подозрительный Маркс, помешанный на другом – пролетарском – мессии, и вовсе объявил Бакунина, как, впрочем, и Герцена, царскими агентами.

В принципе альтернативный, назовем его столыпинским, курс пореформенной России возможен был и в 1850-е, когда казалось, что жизнь страны начинается сначала, и звезда царя-освободителя стояла высоко, и Герцен приветствовал его из своего лондонского далека: «Ты победил, Галилеянин!». Короче, Александр II мог тогда все (не чета Николаю II, когда Столыпин – в раскаленной добела стране, после революции – пытался исправить полувековой давности ошибку). Оказалось, увы, что история таких ошибок не прощает.

Происхождение ошибки теперь, надеюсь, понятно: славянофилы настаивали, правительство поддакивало, западники соглашались – каждый по своим, даже противоположным причинам. Не протестовал никто. Вот так и совершаются порою роковые ошибки: *просто потому, что отсутствует оппозиция*. Особая вина за незаданные вопросы лежит здесь, конечно, на западниках. Им-то уж, казалось, по штату положено быть в оппозиции самодержавию. Но, как видим, всепасающая миссия России и для них оказалась важнее.

Это наводит нас на странную – и вполне крамольную с точки зрения конвенциональной историографии – мысль: такими ли уж западниками были на самом деле постдекабристские либералы, какими мы их себе представляем? Не оказались ли они тоже после николаевской диктатуры, страшно выговорить, всего лишь «национал-либералами»? Разумеется, с «поправками»: мечта о конституции все еще тлела в этой среде, самодержавие по-прежнему было ей отвратительно своей тупостью и полицейской архаикой под флагом «защиты традиционных ценностей», и не все забыли декабристскую мечту о преобразовании Империи в Федерацию. Но все-таки...



А. С. Хомяков



А. Н. Энгельгардт

Но все-таки не прав ли был знаменитый историк Сергей Соловьев, когда писал, что «невежественное правительство *испортило целое поколение*»? Или бывший министр просвещения Александр Головнин, откровенно признавшийся (в дневнике): «Мы пережили опыт последнего николаевского десятилетия, опыт, который нас *психологически искалечил*» (курсив в обоих случаях мой. – А. Я.)? Конечно, были, как мы еще увидим, исключения, и, конечно, пока что это не более чем гипотеза.

Если, однако, нам удалось бы ее доказать, это объяснило бы многое во всей последующей истории постниколаевской России. И то, почему славянофилам удалось добиться в ней статуса «идеи-гегемона». И то, почему в критический час, в июле 1914-го, когда решалась судьба страны на поколения вперед, ее совершенно западническая к XX веку элита приняла тем не менее вполне славянофильское решение – во имя все той же выдуманной за полвека до этого миссии России. Пошла, другими словами, на риск «национального самоуничтожения».

* * *

Доказать эту гипотезу непросто. Но и тут, на новом перекрестке, есть незадаанные вопросы. Важнейший среди них такой. Все без исключения историки, как отечественные, так и западные, согласны, что, не ввяжись Россия в 1914-м в мировую войну, никакой Катастрофы три года спустя в ней не случилось бы. А влияние «красных» бесов на принятие политических решений равнялось в том роковом июле примерно влиянию сегодняшних национал-большевиков (лимоновцев), то есть никак не отличалось от нуля. Но если НЕ ОНИ приняли тогда самоубийственное решение, то КТО его принял? Кто, другими словами, несет ответственность за гибель европейской России? Вот этот решающий, казалось бы, вопрос опять-таки никто в последующей историографии не задал. Почему?

Разве не интересно было бы узнать, почему практически вся тогдашняя российская элита – от министра иностранных дел Сергея Сазонова до философа Бердяева, от председателя Думы Михаила Родзянко до поэта Гумилева, от высокопоставленных сановников до теоретиков символизма, от веховцев до самого жестокого их критика Павла Милюкова, – в единодушном порыве дружно столкнула свою страну в бездну «последней

войны»? Заметьте причем, что говорю лишь о правоверных западниках, славянофилы-то само собой были вне себя от счастья по случаю этой войны. Вот описание их торжества сегодняшним их единомышленником С. С. Хоружим: «Ex Oriente Lux! – провозгласил Сергей Булгаков, теперь Россия призвана духовно вести за собой европейские народы. Жизнь оправдала все ожидания, все классические положения славянофильских учений. Крылатым словом момента стала брошюра Владимира Эрна “Время славянофильствует”».

Понятно теперь, почему не задают главного вопроса? Некого, выходит, винить: ВСЕ противоборствующие силы (за исключением нескольких человек, о которых мы еще поговорим) стояли за войну. А поскольку в России виновных не было, сошлись на том, что виновата Германия. Не оставила, видите ли, России альтернативы, пришлось воевать. И, стало быть, победой «красных» бесов обязана Россия... Германии. Таков сегодняшний консенсус. И есть лишь один способ его опрокинуть – доказать, что АЛЬТЕРНАТИВА БЫЛА. Вот этим мы с читателями, пусть не сразу, но обязательно займемся. Не знаю, получится ли у нас. Но я буду стараться.

ТРОЙНОЕ ДНО ВЕЛИКОЙ РЕФОРМЫ

То, что произошло в России в третьей четверти XIX века, – болезненная и необыкновенно сложная для исследования тема. Болезненная потому, что Александр II занимает в постсоветской либеральной мифологии то же место, какое в дореволюционной занимал Петр. Он – символ экстраординарного прорыва России в Европу, залог того, что у нее есть европейское будущее. И слишком скуден символический капитал в нынешней либеральной копилке, чтобы им разбрасываться. Даже если добавить такие противоречивые фигуры, как Сергей Витте и преданный «сакральному самодержавию» реформатор Петр Столыпин, все равно раздва и обчелся. Да и нет нужды преуменьшать значение александровской реформы. Она и впрямь во многих отношениях заслуживает имени, под которым вошла в историю, действительно была, как мы скоро увидим, Великой.

В этом, однако, и состоит сложность нашей темы. Реформа реформой, но слишком многое в эту эпоху имело поистине роковые для страны последствия. В том числе по вине самого Александра II. Можно сказать, что несколько разных и явно



Александр II

противоречивших друг другу аспектов были в ней сплетены в один неразрывный на первый взгляд узел. Во всяком случае, я не знаю никого, кто его распутал. Между тем, не распутав его, мы лишили бы себя возможности действительно понять не только то, что произошло при царе-освободителе, но и, что еще важнее, после него. В частности то, почему после этого замечательного прорыва страну ждала вовсе не Европа, а мрачная реакция, неумолимым результатом которой стал фатальный конец петровской России.

По-видимому, невозможно это понять, не раскидав все аспекты той эпохи по разным, так сказать, отсекам и не разобравшись с каждым из них в отдельности. И потом попытаться собрать их в одну картину. Попробуем? Итак

Ожидания

Началось все, как всегда бывает в России после ее диктаторских обмороков, с оттепели, со слабых, робких шагов, словно пробующих, начал ли и впрямь таять лед, сковавший страну при Николае. Уже 16 октября 1855 года Никитенко записывал: «В обществе начинает прорываться стремление к новому порядку вещей. Многие даже начинают толковать о законности, о гласности. Лишь бы это не испарилось в словах». С. М. Соловьев вторил: «Пахнуло оттепелью; двери тюрьмы начали открываться, свежий воздух производил головокружение у людей, к нему не привыкших». Но после рескрипта от 20 ноября 1857 года о предстоящей отмене крепостного права гласность как бы получила официальную санкцию – что-то вроде доклада Хрущева на XX съезде КПСС столетие спустя, – и окончательно поверили люди, что страна действительно пытается выбраться из николаевского тупика.

Впрочем, дух оттепели опьянял крепче всякого алкоголя, и задолго до официальной санкции «распустилась наша обильная неисходимая грязь», как писал анонимный корреспондент «Колокола», и «солнце свободы стало греть и живое и мертвое». Тому у нас есть неоспоримые свидетельства. Вот отнюдь не сентиментальный Лев Толстой: «Кто не жил в 1856 году, тот не знает, что такое жизнь. Все писали, читали, говорили,

и все россияне, как один человек, были в неотложном восторге». Если старшим еще не верилось, что это та же самая страна, в которой только вчера, казалось, гремели милитаристские марши и журналы мрачно обличали «предательские мнения и святотатственные сны» тех, кому грезилась свобода, то молодежь поверила в чудо немедленно и беззаветно. Вот юная Софья Ковалевская, знаменитый в будущем математик: «Такое счастливое время! Мы все были так глубоко убеждены, что современный строй не может далее существовать, что мы уже видели рассвет новых времен – времен свободы и всеобщего просвещения! И мысль эта была нам так приятна, что невозможно выразить словами».

Такие ли уж это были бесосновательные ожидания? Нет, пожалуй. Если даже консерватора Никитенко напугала картина николаевского «деспотизма», открывшаяся с гласностью, можно себе представить, какое впечатление произвела она на юные души. Вот что писал Никитенко: «Теперь только открывается, как ужасны были для России прошедшие 29 лет. Администрация в хаосе; нравственное чувство подавлено; умственное развитие остановлено; злоупотребления и воровство выросли до чудовищных размеров». Добавьте к этому немыслимое унижение, которое пережила страна при известии о «позорном мире» 1856 года. Как какому-нибудь третьестепенному государству запретили России, вчерашней европейской сверхдержаве, иметь военный флот на Черном море. И она согласилась. Не могла не согласиться. Потому что, как объяснили молодому царю военные, если бы она продолжала борьбу, неминуемо осталась бы с тем, что, говоря их словами, «некогда называлось великим княжеством московским».

Удивительно ли в таких обстоятельствах, что, как писал царю лидер тогдашних либералов, предводитель тверского дворянства Алексей Унковский, «лучшая, наиболее разумная часть дворянства готова на значительные, не только личные, но и сословные пожертвования, но не иначе как при условии уничтожения крепостного права не для одних лишь крестьян, но для всего народа» (курсив мой. – А. Я.). Нельзя было сказать яснее: откажитесь, государь, от архаического самодержавия,

вы видите, до чего довело оно великую страну, дайте нам конституцию! И так думали не одни либералы. Таков, по сути, был консенсус значительной части постниколаевской элиты. Точнее других сформулировал его Константин Кавелин: «Конституция – вот что составляет теперь предмет тайных и явных мечтаний и горячих надежд. Это теперь самая ходячая и любимая мысль высшего сословия».

Не такой уж, как видим, фантазеркой была молоденькая Софья Ковалевская, когда писала, что «современный строй не может более существовать». Она точно выражала тогдашние ожидания молодежи. Едва ли могла она знать формулу Алексиса де Токвилля, что самые опасные политические кризисы порождаются не экономическими бедствиями, но ОБМАНУТЫМИ ОЖИДАНИЯМИ. Маловероятно также, что знал о ней Унковский, когда предупреждал царя, что «если правительство не внемлет такому общему желанию, то должно будет ожидать весьма печальных последствий».

Что имел он в виду, говоря о «печальных последствиях»? Скорее всего то, что «современный строй», иначе говоря, самодержавие, утратило после злосчастного правления Николая легитимность в глазах значительной части общества, прежде всего в глазах молодежи, сверстников Софьи Ковалевской. И, отказавшись поступиться самодержавием на волне всеобщей эйфории и ожидания конституции, царь-освободитель подписал бы смертный приговор своему так славно начавшемуся царствованию. А быть может, и себе самому. Ибо в стране, лишенной институтов легитимной оппозиции, радикализация молодежи означала бы включение в разрешение конфликта, порожденного ее обманутыми ожиданиями, улицы, способной на все что угодно, вплоть до террора, который неизвестно чем закончится. Как в воду смотрел либерал Унковский!

Зря не прислушался тогда к нему молодой царь. Де Токвилль был, как всегда, прав. Обманутые ожидания действительно превратили тогдашнюю молодежь в Немезиду царя-освободителя. Важно только не забывать, что радикализм ее был вовсе не ленинский, а декабристский. Не переломить Россию через колено во имя мировой революции стремилась

тогдашняя молодежь, но лишь избавить от самодержавной власти. К гарантиям от произвола власти она стремилась, а не к коммунизму. Этим объясняются не только симпатии к ней либерального общества (Вера Фигнер: «Мы окружены симпатией большей части общества»), но и отчаянные метания самого обличителя «бесов» Достоевского. Недаром же Петр Верховенский у него «мошенник, а не социалист». Недаром аплодировал Федор Михайлович оправданию Веры Засулич. Недаром, наконец, сказал он перед смертью: «Подождите продолжения «Братьев Карамазовых»... Мой чистый Алеша убьет царя».

Знал Достоевский, что не со стрельбы начали эти чистые мальчики и девушки. Начали с «хождения в народ» – учить и лечить. И ужаснулись тому, что сделало с их народом самодержавие. Рискну привести здесь отрывок из воспоминаний той же Веры Фигнер, будущей народоволки. Он длинный, но без него нам трудно будет понять логику Достоевского. Фигнер закончила мединститут в Швейцарии и пошла фельдшерницей в деревню. Вот что она там увидела:

«30-40 пациентов мгновенно наполняли комнату. Грязные, истощенные. Болезни все застарелые, у взрослых на каждом шагу ревматизм, катары желудка, грудные хрипы, слышные за много шагов, сифилис, струпья, язвы без конца – и все это при такой невообразимой грязи жилища и одежды, при пище столь нездоровой и скудной, что останавливаешься в оцепении над вопросом – это жизнь животного или человека? Часто слезы текли у меня градом прямо в микстуры и капли».

Упаси Бог, я не оправдываю террор, я лишь пытаюсь объяснить ситуацию, в которой «чистый Алеша убьет царя». Нет слов, Достоевский сделал бы это несопоставимо лучше. Но он не успел. Еще один мой свидетель – антипод Достоевского, Иван Сергеевич Тургенев. Именно девушке, подобной Фигнер, посвятил он знаменитое стихотворение «Святая». Если два столь чутких к настроениям общества и стоявших притом на противоположных полюсах политического спектра человека говорили о тогдашней молодежи практически одно и то же, это должно, по меньшей мере, заставить нас задуматься о том, какие чрезвычайные усилия приложило самодержавие времен

Великой реформы, чтобы превратить этих чистых мальчиков и девушек в беспощадных фанатиков.

Как бы то ни было, так выглядело первое дно Великой реформы. Теперь ее

Второе дно

До сих пор говорили мы лишь о той части общества, которую можно было бы назвать «русскими европейцами». Ожидания, о которых мы говорили, были их ожиданиями. И обманула Великая реформа их. Существовала, как мы знаем, и другая – патерналистская – Россия, издавна приватизировавшая звание «патриотической». Девиз ее был, как мы уже знаем, – «Россия не Европа». И самодержавие было для нее институтом сакральным, а конституция – анафемой. При Николае группировалась она под знаменем официальной народности. Падение николаевского режима вместе с его идеологией и пришествие Великой реформы имели для «патриотической» России два главных последствия.

Первым было то, что упавшее знамя официальной народности подхватили вчера еще оппозиционные славянофилы. Они, конечно, очистили его от грубых наростов «деспотизма», рафинировали и превратили в либерально-националистическую догму, но девиз ее – «Россия не Европа» остался прежним. Вторым последствием было обретение славянофильством собственной внешней политики, без которой оно до тех пор обходилось. Что это была за политика, мы скоро увидим. Но сначала о его внутривнутриполитических инициативах.

Мы уже знаем, что, пользуясь своим преобладанием в редакционных комиссиях по подготовке реформы, славянофилы добились того, что освобожденное от власти помещиков крестьянство было заперто в общинном гетто. Результатом был почти невероятный парадокс, чреватый неминуемым взрывом. Как мы уже упоминали, в момент, когда образованной России даровано было современное европейское правосудие с адвокатами и присяжными, крестьянин оказался «мертв в законе», лишился самого статуса субъекта права, узурпированного общиной. Его по-прежнему можно было сечь на конюшне, разве

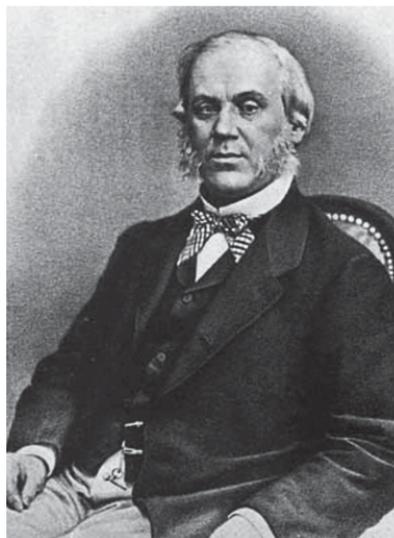
что теперь не по воле барина, а по распоряжению старосты. В момент, когда в городской России выросли, как грибы после дождя, банки и биржи, у «мужицкого царства» отнимали элементарное право собственности, сознательно погружая его в средневековье.

И все это по воле тех самых архитекторов Великой реформы, «молодых реформаторов» и прогрессистов, что возглавили прорыв России в Европу? Русский историк начала XX века Н. И. Иорданский не мог прийти в себя от изумления, обнаружив, что «даже самые прогрессивные представители правящих сфер конца пятидесятых годов считали своим долгом объявить войну обществу». Ему вторил его современник Б. Б. Глинский: «Догматика прогрессивного чиновничества не допускала и мысли о каком-либо общественном почине в деле огромной исторической важности... Просвещенный абсолютизм – дальше этого бюрократия не шла». Согласитесь, что здесь загадка.

Первым, пожалуй, разгадал ее Бисмарк. Он был тогда прусским посланником в Петербурге и лично знал архитекторов реформы. И вот что он писал: «Николай Милютин, самый умный и смелый человек из прогрессистов, рисует себе будущую



А. Ф. Тютчева



Н. А. Милютин

Россию крестьянским государством – с равенством, но *без свободы*» (курсив мой. – А. Я).

Нужно совсем не знать историю русской мысли, чтобы не услышать во всем этом излюбленную риторику славянофилов – с ее преклонением перед самодержавием («только при неограниченной власти монархической народ может отделить от себя государство, предоставив себе жизнь нравственно-общественную»); с ее «идолопоклонством перед народом», по выражению В. С. Соловьева; с ее презрением к интеллигенции (к «публике»); с ее отрицанием личности и воспеванием коллективизма («составляющего, по словам Алексея Хомякова, основу, грунт всей русской истории – прошедшей, настоящей и будущей»).

Получалось, согласитесь, нечто странное: архитекторы европейской реформы совсем не намеревались вести страну в Европу. Во всяком случае, их идейная амуниция была националистической, по сути, антиевропейской. Чего стоила хотя бы мечта Милютина о «крестьянской России» будущего на фоне стремительно индустриализующейся Европы? Если Россия – «нация-семья», как убеждены были славянофилы, то зачем ей конституция? Видели вы нормальную семью, которая нуждалась бы в конституции? «Весь частный и общественный быт Запада основывается на понятии индивидуальности, отдельной независимости, – учил Иван Киреевский, – тогда как у нас перевес принадлежит общенародному русскому элементу перед элементом индивидуальным». Может быть, уже известное нам признание Александра Головина, бывшего министра народного просвещения в правительстве «молодых реформаторов», поможет нам понять этот парадокс: «мы пережили опыт последнего николаевского десятилетия, который нас *психологически искалечил*» (курсив мой. – А. Я).

Реформа

Замечательно при таком раскладе то, что, несмотря на все свои славянофильские предрассудки, люди Милютина тем не менее вели страну именно в направлении Европы. Одно

перечисление того, что им удалось за несколько лет сделать (покуда не вытеснили их из министерских кабинетов старые бюрократические волки), впечатляет. Головнин в середине шестидесятых был предпоследним. Мучительный вопрос о свободе барских крестьян, замусоленный при Николае в десятке секретных и сверхсекретных комитетов, был решен сравнительно быстро и эффективно «Положением о крестьянах, вышедших из крепостной зависимости» от 19 февраля 1861 года. Не менее значительным было «Положение о губернских и уездных учреждениях» от 1 января 1864 года, отдававшее в распоряжение выборных сословных земств просвещение, здравоохранение, постройку дорог и мостов, социальное страхование, статистику, одним словом, все, что касалось повседневной жизни людей. Никогда еще со времен Великой реформы 1550-х не сдавала власть столько позиций внезапно ожившему после николаевской «чумы», по выражению И. С. Тургенева, обществу.

Но самым, пожалуй, эффективным проектом правительства «молодых реформаторов» была судебная реформа того же 1864 года. Достаточно вспомнить, что до реформы суды в России были, скажем мягко, негласными. В них не присутствовали не только адвокаты или присяжные, но даже и сами потерпевшие (исход дела зависел исключительно от величины взятки, предложенной судье тяжущимися сторонами, причем через множество вороватых посредников, как правило, присваивавших часть, если не все, деньги). И вдруг в мгновение, можно сказать, ока на месте этого средневекового произвола возникло современное европейское правосудие, публичное и сословное – с равенством всех перед законом, с присяжными и адвокатами. И, словно ниоткуда, явилось блестящее адвокатское сословие.

Правда, очень скоро обнаружилось, что новый суд зависел от власти так же, как старый от взятки. Но в этом реформаторы не виноваты, скажете вы, в начале 1860-х независимость нового суда подразумевалась сама собою. Как в капле воды, отразилась в этом недоразумении вся противоречивость их мировоззрения. Независимым суд мог быть лишь в конституционном государстве, где сам он был бы одной из ветвей

власти. А они-то строили государство «без свободы», самодержавное. И делиться властью ни с кем оно не желало. И уж меньше всего с независимым судом. Да, контраст новых судов с прежними «московитскими», выглядел умопомрачительно. Но в значительной степени он был фиктивным. Я, по крайней мере, могу вспомнить лишь два случая – за полстолетия! – когда власть проиграла в суде: дело Засулич в 1878 году и дело Бейлиса в 1913-м.

Земская реформа не была единственной, где исход не зависел от идейных предрассудков реформаторов. Тот же Головнин вернул в 1863 году высшим учебным заведениям автономию, отнятую у них при Николае, и вновь открыл двери университетов для разночинцев («кухаркиных детей», как их назовут после его отставки). Правительство больше не решало за профессоров, пользу или вред приносит студентам философия и стоит ли «захламлять их умы иноземным навозом». Посылать курсы своих лекций для предварительного утверждения в министерство от них больше не требовалось.

И военная реформа, начатая в 1864-м Дмитрием Милутиным (последним из «молодых реформаторов», кто досидел в министерском кресле до самого конца царствования Александра II), заменившая архаическую рекрутчину общепринятой в Европе всеобщей воинской повинностью, тоже была вполне европейской.

Как видим, Великая реформа действительно преобразовала на европейский лад практически все области жизни страны. Кроме трех, которые, как оказалось, и решили, в конечном счете, ее судьбу. Во-первых, императорский двор (поддержанный, увы, «психологически искаленным» правительством молодых реформаторов) блокировал «увенчание здания реформ» конституцией, обманув ожидания общества и в первую очередь молодежи. Россия, единственная среди великих держав Европы, осталась самодержавной. Во-вторых, «мужицкое царство» оказалось запертым в архаическом крестьянском гетто. И, в-третьих, наконец, внешнеполитическая стратегия России не только не отказалась от антиевропейской николаевской агрессивности 1850-х, а, напротив, возвела ее в систему. В этом и состояло

Третье дно Великой реформы

Впрочем, для читателя, уже знакомого с лексиконом Русской идеи, ничего неожиданного здесь нет. Поскольку Великая реформа практически совпала с изгнанием России со сверхдержавного Олимпа, иначе и быть не могло. Российские политические элиты ответили на это унижение точно так же, как ответили бы элиты любой другой вчерашней сверхдержавы: фантомным наполеоновским комплексом. И так же, как во всех подобных случаях, центральной идеей внешней политики России должна была отныне стать идея РЕВАНША.

А поскольку Крымская война не оставила сомнений, что один на один России с Европой не совладать, реванш предполагал необходимость искать незападных союзников. Для новой идеи-гегемона – славянофильства, – обретавшего, как мы уже говорили, собственную внешнюю политику, причем обретавшего ее именно по причине поражения в «священной войне» за освобождение славян, не было вопроса, где этих союзников искать. Конечно же, в порабощенном славянстве.

Началось все, впрочем, с критики покойного царя-неудачника. Ясное дело, критиковали его националисты не за то, что возмущало в его царствовании либеральную молодежь, не за «подавленное нравственное чувство» и не за «остановленное умственное развитие». Критиковали в двух словах за то, что, отмежевавшись от Европы МОРАЛЬНО, он слишком долго не решался отмежеваться от нее ПОЛИТИЧЕСКИ. А когда, наконец, решился, сделал это неуклюже и нелепо. Точнее других сформулировала эту критику фрейлина молодой императрицы Анна Федоровна Тютчева: «Николай считал себя призванным подавить революцию. Но он ошибался относительно средств, которые нужно было для этого применить. Он пытался гальванизировать тело, находящееся в стадии разложения, – еретический Запад – вместо того, чтобы дать свободу прикованному цепями, но живому рабу, славянскому и православному Востоку, который призван внести в мир живое искупительное начало».

Вот такая племенная мифология овладела российскими политическими умами – в тот самый исторический момент, когда

молодежь и «наиболее разумная часть дворянства» мечтали о конституции, свободе и всеобщем просвещении, а «молодые реформаторы» – о крестьянской России с равенством, но без свободы. Так выглядело третье дно Великой реформы. Все, так сказать, смешалось в доме Облонских. Не одних лишь молодых реформаторов искалечил, похоже, николаевский «деспотизм». Страна была решительно не готова к тому, что ей предстояло. Вот что пророчески писал царю о Великой реформе Герцен: «Не распутав окончательно старого узла, она навязала к нему столько новых петель, что если не поспешить их распутать, узел затянется до того, что его разве мечом или топором разрубить».

Мы знаем, увы, что прав оказался Герцен: обманутые ожидания молодежи обернулись террором, политическим кризисом и царевубийством. Еще опаснее оказалась племенная мифология политиков (вошедшая в историю под именем панславизма). Опаснее потому, что на практике означала она необходимость расчленения Австрийской и Оттоманской империй, под эгидой которых и пребывали эти самые «живые рабы», за судьбу которых Россия так безответственно принимала отныне на себя, простите за оксюморон, ответственность. Короче, означала она большую войну. И война эта потребует одеть в солдатские шинели десять миллионов крестьян и дать в руки оружие неререформированному «мужицкому царству». И когда поднимут большевики это неграмотное «царство» против европейской России, оно сметет ее вместе с ее великой культурой. Узел, затянутый Великой реформой, и впрямь будет разрублен топором.

Заключение

Это все мы теперь знаем. Но куда важнее – и интереснее – вопрос, существовал ли другой, конструктивный выход из того запутанного клубка противоречий, который, как мы видели, представляла собой эпоха Великой реформы. Тут обратил бы я внимание на опыт Наполеона III. В отличие от своего современника Александра II, он не стал откладывать в долгий ящик созыв представительного учреждения. Конечно, сначала на-

полеоновское Национальное собрание представляло жалкое зрелище. И, конечно, всеобщее избирательное право не избавило Францию ни от шовинистического угара конца 1860-х, ни от несчастной войны 1870 года, ни даже от вызванной поражением в этой войне Парижской коммуны – своего рода мини-большевистской революции. Но за два десятилетия Национальное собрание прижилось, превратилось в настоящий парламент с серьезной политической оппозицией, и в момент, когда страна очутилась на краю пропасти, оказалось достаточно авторитетным и легитимным учреждением, способным ее на этом краю удержать.

Я понимаю, что, как всякое сравнение, хромает и это. Другая история, другие традиции. И все-таки Александр II тоже ведь подписал аналогичный протоконституционный проект Лорис-Меликова. Мало того, сказал сыновьям, по свидетельству присутствовавшего на церемонии Дмитрия Милютина: «Я дал согласие на это представление, хотя и не скрываю от себя, что мы на пути к конституции». Только в отличие от французского коллеги сказал он это не в начале, а в конце своего царствования, роковым утром 1 марта 1881 года – за несколько часов до смерти. Для нас, однако, важно, что он это СКАЗАЛ.

Важно потому, что свидетельствует: был царь-освободитель не только сыном своего отца, для которого конституция была анафемой, но и племянником своего дяди Александра I, даровавшего конституцию Царству Польскому (отнятую потом Николаем), и обмолвившегося однажды, что «верховную власть должна даровать не случайность рождения, но голосование народа». Мало того, что не был Александр II фанатиком самодержавия, он был, как выяснилось, свободен от всех славянофильских завихрений. Мог ли он по всем этим причинам последовать примеру Наполеона III, вопрос сложный. Скажу лишь, что, если бы последовал, подписал что-либо подобное проекту Лорис-Меликова в ситуации эйфории и всеобщего ожидания чуда хотя бы в 1861-м, весь курс истории России мог действительно сложиться по-иному.

Не было бы, во всяком случае, уличного террора, не говоря уже о царевубийстве. За полстолетия прижилась бы Дума, и, более чем вероятно, нашелся бы в ней кто-нибудь вроде

Столыпина, кому в отличие от Петра Аркадьевича ни двор самодержца, ни война не помешали бы довести до ума свою реформу и разрушить «мужицкое рабство». И не понадобился бы топор, чтобы разрубить узел, затянутый Великой реформой. Просто потому, что большевизм разделил бы в этом случае судьбу Парижской коммуны. И избавлена была бы Россия от ожидавшего ее в XX веке кошмара.

...Это все лишь к тому, что ничего невозможного в другом исходе Великой реформы не было.

ПАТРИОТИЧЕСКАЯ ИСТЕРИЯ

После разговора о лексиконе Русской идеи, в котором мы довольно подробно разобрались с такими ключевыми ее понятиями, как «наполеоновский комплекс России» и «идея-гегемон», я едва ли должен убеждать читателя в первостепенной важности понятийного аппарата для новой отрасли знания. На самом деле, как мы теперь понимаем, сами по себе факты ничто без такого аппарата. Как писал крупнейший русский историк Василий Осипович Ключевский, «факт, не приведенный в [концептуальную] схему, есть лишь смутное представление, из которого нельзя сделать научного употребления». С еще большей экспрессией подтвердил это знаменитый французский историк Фернан Бродель, когда сказал: «Факты – это пыль».

С понятием «патриотическая истерия», однако, столкнулись мы лишь вскользь, говоря о последней ошибке Николая I 1853–1855 годов, внезапно оборвавшей его бесконечное, казалось, правление и приведшей к внешнеполитической катастрофе, оставшейся в истории под названием «Крымская война». Между тем такие истерии, время от времени охватывавшие подобно лесному пожару страну, сопровождали практически всю полуторастолетнюю историю Русской



А. И. Герцен

идеи и порою играли в ней роль, сопоставимую с наполеоновским комплексом.

Не обходились они, конечно, без государственной пропаганды, добавлявшей в них хвосту, но коренились все-таки в самой атмосфере общества, зараженного вирусом имперского национализма. Одно мы, по крайней мере, можем утверждать с уверенностью: до возникновения Русской идеи подобных патриотических истерий Россия не знала. Это довольно точный индикатор: если начинает вдруг общество биться как в падучей, можно не сомневаться, что девизом или, если хотите, идеей-гегемоном страны опять стала «Россия не Европа».

Первый известный нам случай такой истерии произошел, как бы подтверждая это правило, уже через три года после того, как уваровская доктрина православия, самодержавия и народности была объявлена официальной государственной идеологией России. Герцен, как мы скоро увидим, дорого заплатил впоследствии за то, что не понял того, что случилось, отнесся к этому событию иронически. «Для того чтобы отрезаться от Европы, от просвещения, от революции, испугавшей его с 14 декабря, Николай поднял хоругвь Православия, Самодержавия и Народности, отделанную на манер прусского штандарта, – писал он, легкомысленно высмеивая уваровское нововведение. – Патриотизм выродился, с одной стороны, в подлую циническую лезть «Северной пчелы», а с другой – в пошлый загоскинский «патриотизм», называющий Шую Манчестером, Шебуева – Рафаэлем, хвастающий штыками и пространством от льдов Торнео до гор Тавриды». Всего-то...

У читателя этого остроумного и элегантного пассажа невольно создавалось впечатление, будто Русская идея держалась на одних лишь «льстецах» и «пошляках». Исследователь Русской идеи, известный литературовед Александр Николаевич Пыпин, с чьей легкой руки и вошла эта первая ее ипостась в историю под именем официальной народности, был совсем другого мнения о ее могуществе – и опасности. «Даже сильные умы и таланты, – говорил он, – сживались с нею и усваивали ее теорию». Достаточно сказать, что насчитывала она среди своих апологетов такие имена, как Гоголь или Тютчев. Что уж говорить о публике попроще? Уже в 1836 году патриотическая

истерия подтвердила правоту Пыпина. «Люди всех слоев и категорий общества, – рассказывал он, – соединились в одном общем вопле проклятия человеку, дерзнувшему оскорбить Россию. Студенты Московского университета изъявили, как говорят, желание с оружием в руках мстить за оскорбление нации».

Читатель, я думаю, уже догадался, кто был этот «дерзнувший», которому намеревались мстить с оружием в руках. Конечно же, тот, кто написал: «Прекрасная вещь – любовь к отечеству, но еще прекраснее – любовь к истине». И добавил: «Было бы прискорбно, если б нам все еще приходилось любить места, где мы родились, на манер самоедов». Петр Яковлевич Чаадаев, конечно. В 1830-е критического текста о русской истории оказалось довольно, чтобы публика сочла его «национал-предателем».

Так начиналась история российских патриотических истерий. Закончилась она (по крайней мере, в дореволюционном цикле Русской идеи) в 1914-м – той, которая привела к «самоуничтожению» петровской России. Но сейчас мы остановимся подробнее лишь на одной из таких истерий, случившейся в промежутке между этими двумя, как из-за ее жестокого драматизма, так и по причине необычности ситуации, в которой она происходила.

В 1863 году в очередной раз поднялась против империи не смирившаяся Польша.

Дело происходило, как понимает читатель, в разгар Великой реформы, когда либеральная европейская Россия вроде бы побеждала на всех фронтах. Гласность делала свое дело. Как и столетие спустя, после смерти другого тирана, робкая поначалу оттепель превращалась в неостановимую, казалось, весну преобразований. «Колокол» Герцена, по общему мнению, добился тогда, можно сказать, статуса «всероссийского ревизора». «Колокол, – писали Герцену друзья из России, – заменяет для правительства совесть, которой ему по штату не полагается, и общественное мнение, которым оно пренебрегает. По твоим статьям поднимаются дела, давно преданные забвению. Твоим «Колоколом» грозят властям. Что скажет «Колокол»? Как отзовется «Колокол»? Вот вопрос, который задают себе все, и

этого отзыва страшатся министры и чиновники всех классов». Как признавал в открытом письме Герцену непримиримый его оппонент Б. Н. Чичерин: «Вы сила, вы власть в русском государстве».

Польское восстание обнаружило вдруг, что все это – иллюзия. Герцен, конечно, ни минуты не колебался: «Мы не будем молчать, – писал он, – перед убиением целого народа». Но Россия не последовала за вчерашним властителем дум. Напротив. Оказалось, что в умах вполне даже просвещенных людей ОТЕЧЕСТВО намертво срослось, полностью отождествилось – с ИМПЕРИЕЙ. И страна, от Москвы до самых до окраин, единодушно поднялась против мятежников-поляков, требовавших немислимого – независимости. Другими словами, распада России? Так прямо и объяснял искренне возмущенный император французскому послу: «Поляки захотели создать свое государство, но ведь это означало бы распад России» (курсив мой. – А. Я.). Почему? – спросите вы.

Михаил Катков, редактор «Русского вестника», предложил объяснение: «История поставила между двумя этими народами [польским и русским] роковой вопрос о жизни и смерти. Эти государства не просто соперники, но враги, которые НЕ МОГУТ ЖИТЬ ВМЕСТЕ ДРУГ С ДРУГОМ, враги до конца». А Тютчев так и вовсе неистовствовал:

В крови до пят мы бьемся с мертвецами,
Воскресшими для новых похорон.

Читатель понимает, кто были для Тютчева «воскресшие мертвецы».

«Убиение целого народа»

Современный немецкий историк Андреас Каппелер выражается осторожно: «Сохранение империи стало после падения крепостного права самоцелью, главной задачей русской политической жизни». А я спрошу: если это не *патриотическая истерия*, то как бы вы это назвали? Мы еще увидим, сколько напридумывали умные люди в России оправданий этому внезапному припадку убийственной национальной ненависти. Сейчас мне

важно показать, что возмущение императора разделяла практически вся страна.

В адрес царя посыпались бесчисленные послания – от дворянских собраний и городских дум, от Московского и Харьковского университетов, от сибирских купцов, от крестьян и старообрядцев, от московского митрополита Филарета, благословившего от имени православной церкви то, что Герцен назвал «убиением целого народа». Впервые с 1856 года Александр II вновь стал любимцем России.

Между тем Герцен был прав: речь шла именно об убиении народа. Даже в 1831 году, при Николае, расправа после подавления предыдущего польского восстания не была столь крутой. Да, растоптали тогда международные обязательства России, отняв у Польши конституцию, дарованную ей Александром I по решению Венского конгресса. Да, Николай публично грозился стереть Варшаву с лица земли и навсегда оставить это место пустым. Но ведь не стер же. Даже польские библиотеки не запретил. Нет, при царе-освободителе происходило нечто совсем иное.

Родной язык был в Польше запрещен, даже в начальных школах детей учили по-русски. Национальная церковь была уничтожена, ее имущество конфисковано, монастыри закрыты, епископы уволены. Если Николай истреблял лишь институты и символы польской автономии, то при царе-освободителе – в полном согласии с предписанием Каткова, поставившего, как мы помним, отношения с Польшей в плоскость жизни и смерти, – целились в самое сердце польской культуры, в ее язык и веру.

Добрейший славянофил Алексей Кошелев восхищался тем, как топил в крови Польшу новый генерал-губернатор Муравьев, оставшийся в истории под именем «Муравьева-вешателя»: «Ай да Муравьев! Ай да хват! Расстреливает и вешает. Вешает и расстреливает. Дай бог ему здоровья!». Обезумела Россия.

Даже такой умеренный человек, не политик, не идеолог, цензор Александр Никитенко, совсем еще недавно проклинавший (в дневнике) антипетровский переворот Николая, и тот записывал тогда свое, вполне оригинальное оправдание



М. Н. Катков

происходящему: «Если уж на то пошло, Россия нужнее для человечества, чем Польша». И никому, ни одной душе в огромной стране не пришли в голову простые, простейшие, очевидные вопросы, которые задавал тогда в умирающем «Колоколе» лондонский изгнанник: «Отчего бы нам не жить с Польшей, как вольный с вольными, как равный с равными? Отчего же всех мы должны забирать в крепостное рабство? Чем мы лучше их?».

Я не знаю ни одного адекватного объяснения того, почему это массовое помрачение разума произошло именно при самом либеральном из самодержцев XIX века, при царе-освободителе. Попробую предложить свое, опираясь на известную уже читателю формулу Владимира Сергеевича Соловьева. Мы недооцениваем идейное влияние николаевской официальной народности (как, замечу в скобках, недооцениваем сегодня влияние сталинской ее ипостаси). Ей между тем удалось-таки стереть в русских умах благородный патриотизм декабристов, подменив его имперским национализмом их палачей. Десятилетиями сеяла она ядовитые семена «национального самообожания». И страшна оказалась жатва.

Герцен признавался: «дворянство, литераторы, ученые и даже ученики повально заражены: в их соки и ткани всосался патриотический сифилис». Как видит читатель, термин, который я для этого помрачения разума предлагаю, патриотическая истерия, по крайней мере, политкорректнее. И что важнее именно с терминологической точки зрения, даже в разгаре жесточайшей полемики (а для герценовского «Колокола» то был поистине вопрос жизни и смерти) не было произнесено роковое слово «национализм». Сколько я знаю, первым в России,

кто противопоставил его патриотизму в серьезном политическом споре, был Соловьев. Но случилось это лишь два десятилетия спустя и было в своем роде терминологической революцией.

Но это к слову, чтобы напомнить читателю о громадном значении расхожих сегодня терминов и о том, что каждый из них был в свое время открытием. Так или иначе, массовая истерия, поднявшая в 1863 году Россию на дыбы, не только заставила замолчать *всероссийского ревизора*, она, как мы еще увидим, научила власть манипулировать уязвимыми точками в национальном сознании и вызывать такие истерии искусственно. Но то была опасная игра. Кончилось тем, как мы уже говорили, что последняя из этих истерий – в 1908–1914 гг. – погребла под собою Российскую империю, увы, вместе с неразумной монархией, так никогда и не нашедшей в себе силы стать единственной формой королевской власти, у которой был шанс сохраниться и в XXI веке, – конституционной монархией.



М. Н. Муравьев

«Мы спасли честь имени русского»

Но мы забежали далеко вперед и, боюсь, как бы за всей этой терминологической суетой не ускользнул от читателя образ истинного героя 1863 года, посмеявшегося остаться свободным человеком даже посреди бушующего моря ненависти, когда все вокруг оказались рабами. Я говорю о человеке, сказавшем: «Мы не рабы нашей любви к родине, как не рабы ни в чем. Свободный человек не может признать такой зависимости от своего края, которая заставила бы его участвовать в деле, противном его совести». Один, пожалуй, Андрей Дмитриевич

Сахаров во всей последующей истории России заслужил право стать вровень с этим человеком.

Речь об Александре Ивановиче Герцене. Вот что он писал, когда на его глазах погибало дело всей его жизни: «Если наш вызов не находит сочувствия, если в эту темную ночь ни один разумный луч не может проникнуть и ни одно отрезвляющее слово не может быть слышно за шумом патриотической оргии, мы остаемся одни с нашим протестом, но не оставим его. Повторять будем мы его, чтобы было свидетельство, что во время всеобщего опьянения узким патриотизмом были же люди, которые чувствовали в себе силу отречься от гниющей империи во имя будущей России, имели силу подвергнуться обвинению в измене во имя любви к народу русскому».

Судьба Герцена печальна. Конечно, казавшийся тогда отчаянным его призыв «жить с Польшей, как равный с равными» сейчас – нечто само собой разумеющееся. Даже прямые наследники Каткова, соловьи империи, какие-нибудь Шевченко или Дугин, не посмеют сегодня оспорить этот приговор истории. Но вот парадокс: понимая, что Герцен был прав, они ведь все равно считают его изменником. И это полтора столетия спустя. А тогда... Тогда Герцен вынес себе самый жестокий из всех возможных для него приговоров: он приговорил себя к молчанию. И решил, что остается ему «лишь скрыться где-нибудь в глуши, скорбя о том, что ошибся целой жизнью».

Сломленный, он и впрямь недолго после этого прожил. И умер в безвестности, на чужбине, оклеветанный врагами и полузабытый друзьями. Похороны Герцена, по свидетельству Петра Боборыкина, «прошли более чем скромно, не вызвали никакой сенсации, никакого чествования его памяти. Не помню, чтобы проститься с ним на квартиру или на кладбище явились крупные представители тогдашнего литературного или журналистского мира, чтобы произошло что-нибудь хоть на одну десятую напоминающее прощальное торжество с телом Тургенева в Париже перед увозом его в Россию».

Не лучше сложилась и посмертная судьба героя, который, как никто другой в его время, имел право сказать: «Мы спасли честь имени русского». Он был отвергнут своей страной в минуту, когда она нуждалась в нем больше всего на свете. А потом

кошунственно воскрешен – служить иконой другой «гниющей империи». И опять был отвергнут, когда сгнила, в свою очередь, и она (вспоминаю комментарий: «опять об этом задрипанном Герцене»). Жестокая судьба.

* * *

В 2013-м исполнилось 150 лет той безумной патриотической истерии, устоял перед которой лишь ОДИН РУССКИЙ. Вспомнили ли о нем? Помянули ли его добрым словом? Я не спрашиваю, перевезли ли прах его на родину. Куда ему! Он же не певец диктатуры, как Иван Ильин. И не белый генерал...

РАБОТАЯ НА БИСМАРКА

Панславизм в действии

Я почти уверен, читатель уже догадался, что очередная инкарнация славянофильства, известная под именем панславизма, сыграла в постниколаевской России ту же роль, которую еще придется играть в СССР ленинизму (разумеется, в сталинской его интерпретации «социализма в одной отдельно взятой стране»). Роль, короче говоря, идеи-гегемона в терминах Антонио Грамши. Другими словами, от нее зависели жизнь и смерть государства, основанного на этой идее. Отсюда и внимание, уделенное здесь рождению панславизма. Много, вы думаете? На самом деле мало, катастрофически мало.

В том-то как раз и состоит моя проблема, что – в рамках отведенного мне редакцией «Дилетанта» места для попытки воссоздания истории Русской идеи – у меня просто нет возможности уделить проблемам славянофильства/панславизма и тысячной доли того внимания, что было уделено в СССР и на Западе проблемам ленинизма. Понятно, что разница эта объясняется разным весом обеих знаменитых русских утопий на весах мировой истории. Если ленинизм обнимал обе фазы наполеоновского комплекса России, как восходящую, так и нисходящую, то на долю славянофильства/панславизма досталась лишь вторичная, реваншистская его фаза. В результате оно «всего лишь» погубило петровскую, европейскую Россию, тогда как ленинизм расколол мир. Но все равно мне как историку Русской идеи обидно. Тем более что без славянофильства мир никогда и не узнал бы о ленинизме. Убедил я вас в этом, мой читатель? Если убедил, все остальное приложится.

Как бы то ни было, ключевых событий на счету славянофильства/панславизма было четыре: крестьянское гетто (1861), патриотическая истерия (1863), Балканская война (1877–1878) и мировая (1914–1918). О первых двух говорили мы довольно подробно, войнам посвятим оставшуюся часть книги.

Кому нужна была Балканская война?

Задумана она была, судя по всему, в недрах Аничкова дворца, резиденции наследника, будущего Александра III, отчасти, конечно, как ответ на либеральные настроения общества. Но главным образом как тест на действенность политического союза между режимом и славянофильством.

Требовалось раздуть большую патриотическую истерию, а затем развязать маленькую победоносную войну за освобождение балканских славян. Это, как предполагалось, сплотит страну на платформе реванша за крымское поражение и докажет волнуемой молодежи абсолютное бескорыстие России, готовой пролить кровь своих сыновей за православных братьев. На бумаге у основоположника М. П. Погодина все выходило просто: «Приезжай-ка, Государь, на Москву, на весну, отслужи молебен Иверской Божьей матери да кликни клич “Православные! За гроб Христов, за святые места, на помощь к нашим братьям!” Вся земля встанет».

В реальности все было сложнее. Куда сложнее! И на ум не приходило Александру II «кликнуть клич», после того как министр финансов объяснил ему, что новая война означала бы государственное банкротство, военный министр, — что армия к войне не готова, а министр иностранных дел — что война с турками вопреки Европе привела бы лишь к повторению крымской катастрофы. Другое дело, намекал Горчаков,



Отто фон Бисмарк

если договориться с Европой заранее. Пообещать что-нибудь Австрии и Англии...

Как бы то ни было, поначалу Аничкову дворцу, то есть «партии войны», ничего не светило. Тем более что славянофилы и слышать не желали о каких-либо уступках за счет славян «Иуде-Австрии, самому коварному врагу славянства». Да и злодейский Альбион не вызывал у них энтузиазма. И понятно почему: «Пора догадаться, – писал Иван Аксаков, лидер второго, панславистского поколения славянофилов, – что благосклонность Запада мы никакой угодливостью не купим. Пора понять, что ненависть Запада к православному миру происходит от иных, глубоко скрытых причин; причины эти – антагонизм двух противоположных духовных начал и зависть дряхлого мира к новому, которому принадлежит будущность».

Дело тут не только в том, что начитался бедняга Данилевского. Это очевидно. В том еще дело, что так никогда и не понял Аксаков: без помощи «дряхлого мира» задуманная панславистами перекройка Балкан была немыслима. И помощь эта на его счастье (или несчастье) явилась – в лице самого гроссмейстера европейской интриги и извечного «друга России» Отто фон Бисмарка, рейхсканцлера новоиспеченной Германской империи, которому, по его собственным соображениям, позарез нужна была тогда русско-турецкая война.

На пути к войне

Роль посредника между Бисмарком и наследником исполнял принц Александр Гессенский, брат императрицы, сновавший из Аничкова дворца в рейхсканцелярию, оттуда в Вену и обратно в Берлин. Наконец-то все было согласовано. Англия удовлетворилась Кипром. Но Австрия потребовала изрядный кусок славянских Балкан и вдобавок поставила жесткое условие – в результате войны не должно быть создано «одно сплошное славянское государство». Все это, разумеется, должно было держаться в строжайшем секрете от славянофилов.

Долго ожидать повода для войны не пришлось. У гигантской Оттоманской империи был с десяток собственных «Польш», и бунтовали они практически беспрерывно. В 1875-м поднялась

Герцеговина, в 1877-м – Болгария. Своих патриотических истерий Турции тоже хватало. На этот раз они достигли такого накала, что группа «патриотических» пашей свергла султана Абдул-Газиза, заменив его непримиримым исламистом Мурадом V, и восстание болгар стало поводом для свирепой резни, всколыхнувшей всю Европу. Как писала лондонская Daily Mail, «если перед нами альтернатива – предоставить Герцеговину и Болгарию турецкому произволу или отдать их России, пусть берет их себе – и Бог с ней». Дальнейшее было делом техники.

Славянские благотворительные комитеты, основанные славянофилами в крупных городах, собирали в церквах деньги на «славянское дело». Созданы были бюро для вербовки волонтеров в сербскую армию. Не то, чтобы «поднялась вся земля», как обещал Погодин, но набралось их порядочно. Попадался, конечно, и просто бродячий люд, но были и отставные офицеры, и юные идеалисты, как Всеволод Гаршин. Аничков дворец отрядил в Белград героя среднеазиатских походов генерала Черняева, который принял командование сербской армией.

Прокламации Аксакова, обличавшие «азиатскую орду, сидящую на развалинах древнего православного царства», дышали яростью. Турция именовалась в них «чудовищным злом и чудовищной ложью, существующей лишь благодаря совокупным усилиям всей Европы». И все это бурлило, соблазняя сердца и будоража умы, выливаясь в необыкновенное возбуждение, противостоять которому не посмел и сам царь. Свою часть работы славянофилы делали хорошо. Патриотическая истерия 1863 года выглядела по сравнению с тем, что происходило в 1876-м, как детский утренник. Единственное, чего не знали славянофилы, что работали они на Бисмарка.

Война

30 июня 1876 года Сербия объявила войну Турции. Но продолжалась она недолго. Три месяца спустя войска Черняева были разбиты наголову. Турки шли на Белград. Сербия запаниковала. И что бы вы думали, ее спасло? Ультиматум «дряхлого мира», потребовавшего международной конференции. Оставшись в одиночестве, турки отступили. Но в последний момент

сорвали конференцию, неожиданно объявив, что «султан жалует империи конституцию, открывая новую эру благоденствия для всех ее народов». Обнадеженные европейские послы покинули Константинополь.

Но в Москве патриотическая истерия полыхнула с новой силой: какая может быть перестройка в «азиатской орде»? Нет, не устраивали славянофилов ни бескровное разрешение конфликта, ни тем более турецкая конституция. Не прощали туркам унижение Сербии. Сопrotивление «партии мира» было сломлено. 12 апреля 1877 года Россия объявила войну Турции. Исход ее был предрешен. Даже при крайнем напряжении сил турки могли выставить в поле 500 тысяч штыков, половину из них необученных. Им противостояла полуторамиллионная регулярная армия. При всем том затянулась война почти на год. Маленькой победоносной войны не получилось, хотя патриотическая истерия вышла и впрямь большая и, как видим, победоносная.



«На Шипке все спокойно».
Художник В.В. Верещагин. 1893

Потери были гигантские, главным образом из-за трех бездарных лобовых штурмов Плевны (в конце концов, взял ее правильной осадой герой Севастополя Эдуард Тотлебен). Спасла судьбу кампании героическая защита Шипки. Но победоносная армия спускалась с Балкан в состоянии отчаянном. Как записывал офицер главного штаба, «наше победное шествие совершается теперь войсками в рубищах, без сапог, почти без патронов, зарядов и артиллерии».

Увы, мирный договор, подписанный 19 февраля 1878 года в пригороде Стамбула Сан-Стефано, оказался

еще более бездарным, чем планирование войны. Он предусматривал воссоздание средневековой Великой Болгарии величиной с половину Балкан – от Эгейского моря и до самой Албании на Адриатическом. И вдобавок «временно оккупированной» русскими войсками. Но ведь это как раз и было «сплошное славянское государство», категорически запрещенное секретным соглашением с Австрией. В ответ Австрия объявила мобилизацию, грозя отрезать русскую армию от ее баз в Валахии. И что уж вовсе выглядело предательским ударом в спину России – к австрийскому протесту присоединилась Сербия, ради которой война вроде бы и затевалась.

Конечно, и сербов можно было понять. Братство братством, но надеялись они, что закончится война воссозданием Великой Сербии, а не усилением их старой соперницы Болгарии. Они тоже рассматривали Сан-Стефанский договор как предательство. Со стороны России. Этим, видимо, и объясняется, что уже в 1881 году Сербия заключила военный союз с Австрией и целых пятнадцать лет была союзницей «Иуды». Этим объясняется и отречение Сербии от России в 1905 году после Русско-японской войны, и ее нападение на Болгарию в 1913-м в союзе со злейшим своим врагом – Турцией. Страшно подумать, что приключилось бы с Аксаковым, доживи он до этой серии сербских предательств и межславянской резни.

И тут-то показал зубы Бисмарк. На Берлинском конгрессе в июне 1878 года, замечает французский историк, «Горчаков и Шувалов к великому своему изумлению не нашли у Бисмарка того расположения к России, на которое они рассчитывали, ни малейшей поддержки ни в чем». Теперь славянские страсти, которые Бисмарк в компании с туповатым наследником русского престола старательно разжигал, были ему ни к чему. Он своей цели добился. Он стал европейским миротворцем; Австрия, проглотившая наживку, кусок славянских Балкан, была отныне у него в кармане, а Россия – дальше, чем когда-либо от Константинополя (на ее пути встанет смертельно обиженная на Россию за отнятую у нее Бессарабию Румыния).

Итоги

Берлинский конгресс разделил Болгарию, задуманную как инструмент русского влияния на Балканах, на три части, одной строкой лишив Россию всех плодов победы. Австрия получила Боснию и Герцеговину, Англия – Кипр. Без единого выстрела. А Россия? Она с чем была, с тем и осталась. Это после войны, едва не приведшей ее к государственному банкротству, после десятков тысяч солдат, polegших под Плевной, после всех надежд и упований, связанных с Всеславянским союзом и – что уж тут скрывать? – с русской армией в столь соблазнительной близости от вождя Константина, после всего этого остаться ни с чем?

«Это была самая горькая страница в моей биографии», – сказал после конгресса царю старый Горчаков. «И в моей тоже», – ответил царь. Аксаков разразился громовой статьей «Ты ли это, Русь?», проклиная, конечно, «дряхлый мир», отнявший у России «победный венец, преподнеся ей взамен шутовской колпак с погремушками, а она послушно, чуть не с выражением чувствительной признательности склонила под него многострадальную голову». Вселенский траур, одним словом.

Погодите минутку, однако. По какой причине траур? Разве не для освобождения православных звали славянофилы Россию на бой с «азиатской ордой»? И разве цель не была достигнута? Разве не обрели после конгресса независимость Сербия, Черногория и Румыния, Болгария – автономию? Это – «колпак с погремушками»? Откуда же плач на реках Вавилонских? Не дали России отхватить свою «законную добычу» на Балканах? Австрии дали, а России не дали? Так не клялась ведь Австрия, что ничего, кроме «христианской правды», ей для себя не нужно, а Россия клялась. Но, судя по трауру, мало ей почему-то показалось одной «христианской правды». Почему, как вы думаете?

* * *

Вскоре после балканского фиаско спрашивал Владимир Сергеевич Соловьев: «Стоило ли страдать и бороться тысячу лет России, становиться христианской с Владимиром Святым и европейской с Петром Великим для того лишь, чтобы в послед-

нем счете стать орудием великой идеи сербской или великой идеи болгарской?». К сожалению, Россия его не услышала. И три десятилетия спустя в точности повторила все ошибки, совершенные в 1870-х: опять ввязалась в войну ради «единоверной и единокровной» Сербии (так, во всяком случае, было написано в царском манифесте). С той разве разницей, что на этот раз кукловодом был уже не Бисмарк, а Пуанкаре (по прозвищу «Пуанкаре-война»). И с той, конечно, разницей, что исход на этот раз был смертельным.

РЕЖИМ СПЕЦСЛУЖБ И ЕВРЕЙСКИЙ ВОПРОС

В одной из предыдущих глав я ссылался на академика С. Ю. Глазьева, советника президента по делам евразийской интеграции и идеолога Изборского клуба. Он и его подопечные в клубе твердо убеждены, что даже сегодняшняя Россия с нулевым ростом ВВП все еще в силах – при условии «мобилизации всех ресурсов и огромного напряжения всех сил» – вырваться в лидеры мирового развития и вернуть себе сверхдержавный статус. Это важно как иллюстрация самообмана, в который, как правило, впадают бывшие сверхдержавы, давно уже разжалованные в рядовые, в ситуации *фантомного* наполеоновского комплекса. Я привожу этот пример потому, что читатель, чего доброго, может мне и не поверить, когда я скажу, что третье поколение славянофилов было точно так же уверено на закате Российской империи, что, сокрушив Германию, именно Россия вырвется в лидеры мирового развития и займет ее место на сверхдержавном Олимпе.

Уверенность эта тогда, как и теперь, проистекала из особенностей режима контрреформ (1881–1905), породившего «третьих» (назовем так для краткости третье славянофильское поколение, о котором речь). Начнем с этих особенностей.

«Россия под надзором полиции»

Это, собственно, название статьи Петра Струве («Освобождение», 1903), которую мы уже упоминали. Струве суммировал итоги того, к чему привел Россию режим контрреформ, кратко: «ВСЕМОГУЩЕСТВО ТАЙНОЙ ПОЛИЦИИ». Говоря современным языком, режим спецслужб. Можем ли мы доверять оппозиционеру из заграничного эмигрантского журнала? Можем, хотя бы потому, что с диагнозом этим согласны были даже слуги режима. Например, бывший начальник Департамента полиции А. А. Лопухин тоже писал впоследствии, что

«все население России оказалось зависимым от личных мнений чиновников политической полиции». Это, впрочем, было очевидно даже для иностранных наблюдателей русской жизни. Джордж Кеннан, родственник знаменитого дипломата, описал это эффективнее Лопухина. Ему тогдашние российские спецслужбы представлялись «вездесущим регулятором всего поведения человека, своего рода некомпетентной подменой божественного Провидения».

Иначе говоря, на предпоследней ступени деградации, накануне «национального самоуничтожения», оказалось русское самодержавие полицейской диктатурой, идейно пустой, интеллектуально нищей. Удивительно ли, что таким же было и порожденное им славянофильство? Ни следа не осталось в нем от наивной утопии его родоначальников, все еще мерцавшей, как мы помним, отраженным светом декабристского свободолюбия. Даже от романтических порывов второго поколения ничего не осталось – ни от православной окрыленности Достоевского, ни от мрачного византийского вдохновения Константина Леонтьева. Вот три главных постулата, которыми они руководились.

Первый был сформулирован знаменитым «белым генералом» Михаилом Скобелевым: «Путь к Константинополю



Памятник Петру I



Памятник Александру III

должен быть избран теперь не только через Вену, но и через Берлин». Второй принадлежал Сергею Шарапову: «Самодержавие окончательно приобрело облик самой свободолюбивой и самой желанной формы правления». Последний был основан на «открытии» популярного и в наши дни Михаила Меншикова, «великого патриота» и «живоносного источника русской мысли», по выражению нашего современника, известного писателя-деревенщика Валентина Распутина. Состояло открытие в том, что «входя в арийское общество, еврей несет в себе низшую человечность, не вполне человеческую душу».

Понятно, что пришлось «третьим» отречься и от идейного арсенала, доставшегося им от второго поколения. Их воинственность, то, что именовал Соловьев «национальным кулачеством», особенно комичная в ситуации экономической и военной слабости России, зашкаливала, все больше напоминая полубезумное фанфаронство николаевских идеологов накануне Крымской войны. Я уже, кажется, частично цитировал типичную фанфаронаду одного из их лидеров Сергея Шапова: «За самобытность приходилось еще недавно бороться Аксакову, какая там самобытность, когда весь Запад уже успел понять, что не обороняться будет русский гений от западных нападений, а сам перевернет и подчинит себе все, новую культуру и идеалы внесет в мир, новую душу вдохнет в дряхлеющее тело Запада». Но главное было даже не в этом. Повторяя давнюю ошибку Ивана Грозного, совершили «третьи» самоубийственный для России

«Поворот на Германы»

Еще для Достоевского воплощением всех европейских зол была Франция. Ей пророчил он мрачное будущее: «Франция отжила свой век, разделилась внутренне и окончательно сама на себя навеки... Францию ждет судьба Польши и политически жить она не будет». Что же до Германии, руководимой Бисмарком, «единственным политиком в Европе, проникающим гениальным взглядом своим в самую суть вещей», то все симпатии Достоевского были на ее стороне. Тем более «что Германии делить с нами? Объект ее все западное человечест-

во. Она себе предназначила западный мир Европы, провести в него свои начала вместо романских и впредь стать предводительницей его, а России она оставляет Восток. Два великих народа, таким образом, предназначены изменить лик мира сего».

Если эта тирада напомнит кому-нибудь грядущий пакт Молотова – Риббентропа, то не забудем, что речь тогда все-таки шла не о нацистской Германии. А цинизм что ж, славянофилы они славянофилы и есть, даром, что ли, покинул их Соловьев? Для нас важно здесь одно: к Германии относились они более чем дружелюбно. Леонтьев предлагал даже использовать Германию для уничтожения «худшей из Европ», ибо именно «разрушение Парижа облегчит нам дело культуры в Царьграде». Итог подвел Данилевский: «Россия – глава мира возникающего, Франция – представительница мира отходящего». В этом все без исключения гранды второго поколения были едины.

И вдруг возникает Сергей Шарапов, совсем молодой еще в конце 1880-х человек, но уже редактор «Русского голоса» и издатель влиятельного «Московского сборника», и переворачивает все их приоритеты вверх дном: «В предстоящей мировой борьбе за свободу арийской расы, находящейся в опасности вследствие агрессивной и безнравственной политики Германии, последняя должна быть обезврежена». Поворот, согласитесь, ошеломляющий. Обоснование тоже: «французы уже пережили свою латинскую цивилизацию. [А поскольку] блещит луч с Востока, греет сердце, и это сердце доверчиво отворяется, то зла к нам во Франции мы больше не встретим».

А вот «Германия – другое дело. Позднее дитя латино-германского мира, не имеющее никаких идеалов, кроме заимствованных у еврейства, не может не ненавидеть новую культуру, новый свет мира». Как видим, «обезвреживание» Германии тоже оказалось для «третьих» частью всемирной борьбы против еврейства, во главе которой и предстояло стать «новому свету мира». Теперь понятно? «Не в прошлом, свершенном, а в грядущем, чаемом, Россия – по общей мысли славянофилов – призвана раскрыть христианскую правду о земле». И звучала эта правда отныне как «Россия против еврейства».

Облик грядущего

Я так много говорю о Шарапове потому, что именно он, единственный из «третьих», оставил нам исчерпывающий ответ на вопрос, поставленный в начале этого текста, своего рода программу своего поколения: «Я хотел в фантастической форме дать читателю практический свод славянофильских мечтаний, показать, что было бы, если бы славянофильские воззрения стали руководящими в обществе». Называется роман «Через полвека», опубликован в 1901 году. Вот что, по мнению «третьих», ожидало Россию после того как Германия будет «обезврежена».

Москвич 1951 года встречается с человеком из прошлого и отвечает на его недоуменные вопросы.

« – Разве Константинополь наш?

– Да, это четвертая наша столица.

– Простите, а первые три?

– Правительство в Киеве, вторая столица Москва, третья – Петербург».

Внешне автор словно бы следует предписаниям Леонтьева: и Константинополь наш, и правительство в Киеве, но смысл, душа леонтьевского предписания – «отдать Германии петровское тусклое окно в Европу и весь бесполезный и отвратительный наш Северо-Запад за спокойное господство на юге, полном будущности и духовных богатств» – утрачены. О превращении Петербурга в «балтийскую Одессу» и «простой торговый вассисдас» речи нет. Духовные богатства автора не волнуют, были бы территориальные. Тут он красноречив сверх всякой меры. Каковы же границы будущей России?

«Персия представляет нашу провинцию, такую же, как Хива, Бухара и Афганистан. Западная граница у Данцига. Вся Восточная Пруссия, Чехия с Моравией, мимо Зальцбурга и Баварии граница опускается к Адриатическому морю. В этой Русской империи Царство Польское с Варшавой, Червонная Русь со Львовом, Австрия с Венной, Венгрия с Будапештом, Сербо-Хорватия, Румыния с Бухарестом, Болгария с Софией, Греция с Афинами».

Когда-то, за много лет до шараповских откровений Леонтьев предсказывал: «Чувство мое пророчит, что когда-нибудь Православный Царь возьмет в свои руки социалистическое

движение и с благословения Церкви учредит социалистическую форму жизни вместо буржуазно-либеральной». И добавлял для тех, кто еще не понял: «и будет этот социализм новым и суровым тройким рабством – общинам, Церкви и Царю».

Конечно, для Шарапова социализм табу, ему это не по чину, он не Леонтьев, да и сам Леонтьев промахнулся насчет Православного социалистического Царя. Но все-таки, если соединить два эти столь разных, казалось бы, прогноза, невольно создается впечатление, что истинным наследником Русской идеи стал, хотя и не православный, но социалистический царь Иосиф. Тем более что и террор спецслужб оказался при нем почище, чем во времена Шарапова. Мы еще вернемся к этому удивительному совпадению.

Покуда скажем лишь, что в некоторых деталях Шарпов ошибся. С Константинополем и с Грецией вышла осечка. С Австрией и Сербо-Хорватией тоже. Иран не вошел в советско-славянскую империю, а с Афганистаном и вовсе оскандалились. Но общее предвидение гигантской империи, простиравшейся на пол-Европы и основанной на леонтьевском предчувствии, что социализм будет «новым рабством», оказалось верным. Пусть с совершенно иной идейной начинкой, пусть безбожной, пусть лишь на полвека, но оно оправдалось.

Какое еще нужно доказательство, что Соловьев был прав и Россия больна? И что дореволюционные славянофилы при всей своей гротескности угадали природу этой болезни куда лучше тогдашних либералов, до конца уверенных, что Россия всего лишь «запоздалая Европа»? И не урок ли здесь для сегодняшних русских европейцев? Нет, не оставит Россию имперской дух, не хлопнув дверью, да так хлопнув, что дом задрожит! Живое свидетельство тому проекты Изборского клуба. Да, столь же полубезумные, как проекты Шарапова, – но живые. А ведь он, этот клуб, лишь симптом той жгучей ностальгии по предсказанной Леонтьевым «социалистической» империи, пусть сгнившей заживо, но – вот парадокс! – все еще живой в значительной части растерянного, как после подавления декабристского восстания, общества.

Никто, пожалуй, не выразил эту ностальгию так ярко и так откровенно, как обозреватель «Комсомольской правды»

Ульяна Скойбеда в колонке под странным двусмысленным названием «Я больше не живу в завоеванной стране». Вот ключевые ее откровения: «Это не Крым вернулся, это мы вернулись домой. В СССР... Вступать в конфронтацию со всем миром ради отстаивания своей правды – это СССР. Быть готовым жить в бедности (потому что санкции со стороны мирового сообщества означают бедность) – это СССР. Когда весь народ готов ходить в резиновых сапогах – это СССР. Когда позор перестройки, наконец, изжит и людей не пугает даже железный занавес... именно так, в изоляции, всегда ведь и жил СССР. Здравствуй, Родина! Как же соскучилась я по тебе». Воскресни на развалинах обеих русских империй XX века Сергей Шарапов – и он не сказал бы лучше. Жив фантомный наполеоновский комплекс России, пусть скукоженный, пусть дважды униженный и дважды жестоко проученный, но жив. По-прежнему больна Россия.

Это мы, впрочем, опять неосторожно перескочили через кошмарное для страны столетие. Вернемся к Шарапову, пока еще в добром здравии, пока еще, подобно будущей Скойбеде, фантазирующему.

Еврейский вопрос

Конечно, и священный для славянофилов второго поколения Всеславянский союз оказался «через полвека» всего лишь очередной маской русской сверхдержавности, отброшенной за ненужностью: «Помилуйте, это смешно. Вы посмотрите, какая необъятная величина Россия и какой маленький к ней привесок славянство. Неужели было бы справедливо нам, победителю и первому в мире народу, садиться на корточки ради какого-то равенства со славянами?» (Помните, как в свое время так же оговорился Достоевский? Но тогда это была оговорка. У Шарапова это уже убеждение.).

Потому что до славян ли, когда «речь идет о непомерном размножении в Москве еврейского элемента, сделавшего старую русскую столицу совершенно еврейским городом»? Дело ведь дошло до того, что «была уничтожена процентная норма для учащих евреев во всех учебных заведениях». Даже в

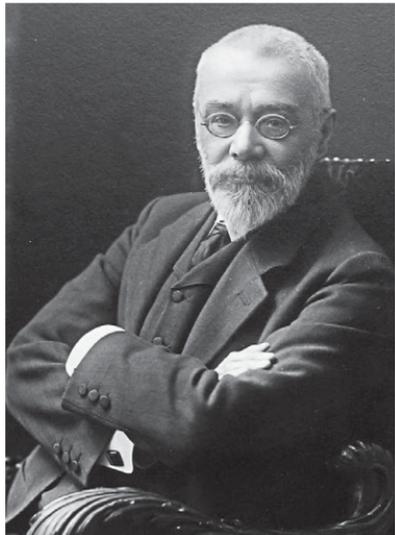
фантастическом будущем такой либеральный разврат ужасает автора. Для того ли «обезвредили» мы Германию с ее заимствованными у еврейства идеалами, чтобы допустить такое безобразие дома? Подобаает ли «первому в мире народу» и «новому свету мира» мириться с засильем этих «с не вполне человеческой душой»?

Впрочем, как мы знаем, ужасался Шарапов зря: процентная норма для учащихся евреев при царе Иосифе была благочестиво восстановлена. И бушевавшие в тогдашней Москве истерические кампании против «безродных космополитов» и «убийц в белых халатах» свидетельствовали, что к предупреждению Шарапова прислушались. Социалистический царь и впрямь превратил еврейский вопрос в самую насущную проблему России. И вообще Москва 1951 года куда больше, согласитесь, напоминала предсказание Шарапова, нежели видение Ленина.

В начале XX века взгляды расходились лишь по поводу того, что с этим проклятым «вопросом» делать. Шарапов предлагал бойкот евреев со стороны «коренных русских людей, которые, наконец, почувствовали себя хозяевами своей земли», перестали, как скажет в будущем Скойбеда, «жить в завоеванной



С. Ф. Шарапов



М. О. Меньшиков

стране». Просто не брать их ни на какую работу, кроме черной. Более жесткие последователи «великого патриота» Михаила Меншикова, такие как Владимир Пуришкевич, возглавлявший Союз Михаила Архангела, или Николай Марков, шеф Союза русского народа, опираясь на меншиковский диктум, что «народ требует чистки», нашли, однако, рекомендации Шарапова слишком либеральными. Они требовали «чистки» более радикальной. Почему бы, например, не выслать всех евреев куда-нибудь за Полярный круг, к чему, по многим свидетельствам, склонялся в конце своих дней и социалистический царь?

Ритм самодержавия

Как видим, «красные бесы», захватившие власть в России в октябре 1917-го, превратились со временем в «бесов черных». О том, что все утопии раньше или позже вырождаются, было известно давно. Но тому, что вырождаются они *буквально в собственную противоположность*, научила нас только история России XX века.

И все-таки главного «третьи» не поняли, историю отечества учили, как и Скойбеда, по Карамзину, а не по Ключевскому: режим спецслужб, породивший как его утопию, так и вполне реалистическую кампанию против безродных космополитов «через полвека», оказался не только преходящим. Он сменился, как всегда было в русской истории, *либеральной оттепелью*. Пусть еще не «позором перестройки», по Скойбеде, но достаточной для того, чтобы никогда больше не появились в России проекты переселения целых народов в места, как принято говорить, не столь отдаленные.

А режим спецслужб что ж? Во времена Шарапова и Пуришкевича сокрушен он был гигантской всероссийской забастовкой и отвратительной для славянофилов конституцией, во втором случае – страхом соратников царя Иосифа за собственную жизнь и реабилитацией жертв террора. Но главное, чего не поняли «третьи» – и их сегодняшние наследники, – что в постоянном чередовании режимов террора и либерализации и состоит, собственно, *регулярный ритм политического процесса самодержавия*.

Вспомним, например, что произошло в 1801 году после того, как Павел I «захотел, – по словам Карамзина, – быть Иоанном IV и начал господствовать всеобщим ужасом, считал нас не подданными, а рабами, казнил без вины, ежедневно вымышляя новые способы устрашать людей». Разве не пришло тогда на смену режиму террора «дней Александровых прекрасное начало»? Разве не сменила режим Николая I Великая реформа и «дениколаизация» страны, если можно так выразиться? И разве не продолжало в том же ритме функционировать самодержавие и после торжества «мужицкого царства» в 1917-м?

Вспомните хотя бы неожиданную смену «красного террора» и военного коммунизма НЭПом в 1920-е, или десталинизацию в середине XX века, или, наконец, перестройку в конце тысячелетия. Вот и верьте после этого Солженицыну, что «советское развитие не продолжение русского, но извращение его совершенно в новом, неестественном направлении». Увы, в очень даже естественном для самодержавия направлении продолжалось это развитие. Более того, продолжается и в постсоветском уже излете самодержавия. Случайно ли, словно интуитивно об этом самодержавном ритме догадываясь, отказался тот же Солженицын принять орден из рук либерального царя Бориса и почтительно принял его от другого, нелиберального царя?

Что правда, то правда, однако: Первая мировая война действительно сорвала процесс очередной либерализации режима. Мы не знаем, чем закончилась бы эта либерализация, не будь войны, но знаем, что война и впрямь принесла стране национальную катастрофу. О том, могла ли Россия избежать этой страшной войны – и катастрофы – мы поговорим в следующей главе.

ТРАГЕДИЯ ПЕТРА СТОЛЫПИНА

В отличие от недавних годовщин А. И. Герцена и М. М. Сперанского, двойной юбилей Петра Аркадьевича Столыпина (150 лет со дня рождения и столетие со дня смерти) отпразднован был с фанфарами. Возвели и памятник на Краснохолмской набережной, первый камень в основание которого заложил сам Президент РФ. Столыпин – его герой. И шумиха в СМИ поднялась знатная. Но, хотя за Сперанского и, особенно, за Герцена обидно, это не должно, конечно, служить препятствием для объективной оценки крупного государственного деятеля,



П. А. Столыпин

попытавшегося с опозданием на полстолетия исправить фатальную ошибку Александра II. Да, Столыпин был предан самодержавию (погубившему, в конечном счете, и его, и его реформу), да, он был откровенным националистом, впрочем, умеренным (черносотенцев на дух не переносил, панславистов тоже). Но при всем том возвышался он над современными ему российскими политиками (если не считать, конечно, Сергея Витте и Петра Дурново), как Гулливер над лиллипутами.

Главным образом потому, что в отличие от них понимал обе центральные для России после поражения в Русско-японской войне и революции Пятого года проблемы:

во-первых, что неререформированная она обречена, во-вторых, что довести до ума ее реформу требовало, по его собственным словам, двадцати лет мира. Этим восстанавливал он против себя как либералов, которых не устраивало то, что под реформой имел он в виду исключительно освобождение крестьян от общинного рабства (эти мечтали о великой РЕФОРМЕ, которая заменила бы «думское самодержавие» общепризнанной в Европе конституционной монархией), так и императорский двор (эти усвоили, подобно библейской заповеди, формулу Михаила Скобелева, гласившую, как мы помним, что «путь в Константинополь должен быть избран не только через Вену, но и через Берлин»). Какие уж там двадцать лет мира! Кто бы их ему дал?

Сколько я знаю, считать Столыпина трагической фигурой никому до сих пор в голову не приходило. Смерть его от руки провокатора была, конечно, трагичной. Но при жизни... Энциклопедический словарь 1989 года характеризует его так: «В эпоху реакции 1907–1911 гг. определял правительственный курс. Организатор третьеиюньского переворота 1907 г., руководитель аграрной реформы». Пахнет трагедией? Для современных ему либералов он был верным слугой царя; для постсоветских – героем (единственная точка пересечения с Путиным); для панславистов – недотепой, не понимавшим «историческую миссию России»; для прогрессистов – реформатором; для двора – сначала спасителем, добившим революцию, а потом надоевшим полулиберальным резонером, для интеллигентов, как Лев Толстой или Леонид Андреев, ассоциировался он со «стольпинскими галстуками». Но с человеком, чье сердце было разорвано надвое, с трагической фигурой не ассоциировался Столыпин – ни для кого. И тем не менее... Впрочем, об этом после.

Подавление «охвостья»

Хотя главную работу по стабилизации страны после гигантской общероссийской забастовки проделал до него Витте, вырвав у перепуганного двора Манифест о созыве Думы и тем самым отрезав радикалов от массовой поддержки, Столыпину

все же пришлось иметь дело в 1906–1907 годах с «охвостью» умиравшей своей смертью революции, в том числе с террористическим. Расправился он с ним без церемоний. Военно-полевые суды вешали всех подозреваемых в терроризме. «Столыпинские галстуки» вошли в народный фольклор. Можно ли было обойтись при подавлении «охвостья» без такой демонстративной жестокости, без дорог, на версты уставленных виселицами, вопрос спорный. Лев Толстой был не только уверен, что жестокость была чрезмерной, но и в том, что она нанесла непоправимый моральный вред будущей России. «Все эти насилия и убийства, – писал он в своем антистолыпинском манифесте “Не могу молчать!”, – кроме того прямого зла, которое они приносят жертвам насилия и их семьям, причиняют еще большее, величайшее зло, разнося быстро распространяющееся, как пожар по сухой соломе, развращение всех сословий русского народа. Распространяется же это развращение особенно быстро среди простого рабочего люда потому, что все эти преступления, превышающие в сотни раз все, что делалось... всеми революционерами вместе, совершаются под видом чего-то нужного и хорошего».

Столыпин совершенно очевидно думал иначе. Солженицын впоследствии склонен был с ним согласиться. Но факт, что уже десятилетие спустя «простой рабочий люд», о котором говорил Толстой, действительно принял бессудные расправы ЧК, тоже совершавшиеся «во имя чего-то нужного и хорошего», без особого протеста, заставляет думать, что беспокойство старого провидца о будущем России было не лишено оснований. Предвидение вообще не было сильной стороной Столыпина. Он, к сожалению, как правило, предпочитал немедленный успех заботам о завтрашнем дне. Зря назвал его Петр Струве «русским Бисмарком». В отличие от железного канцлера стратегом Столыпин был, увы, никаким.

Уже в начале своей правительственной карьеры он недвусмысленно продемонстрировал это. Не ожидал он, что Россия 1906 года столь единодушно проголосует против дородного ему самодержавия. Проголосует, причем, несмотря на все страшилки черносотенной прессы, неожиданно либерально. В первой Думе было 184 кадет и 124 умеренных

левых – конституционное большинство. Положиться Столыпин мог, по сути, лишь на 45 голосов крайних правых – из 497 депутатов. Таков был результат всеобщего, тайного и равного голосования. Что сделал бы в такой ситуации, не скажу Бисмарк, но даже Ельцин, которому пришлось в 1993 году иметь дело в Верховном Совете с постсоветскими коммунистами и националистами, непримиримыми борцами против «антинародного режима»?

Маневрировал, где-то уступал, правил посредством указов, пытаясь расколоть оппонентов, так или иначе работал с непримиримым парламентом. Столыпину было легче, чем Ельцину. Во-первых, судьба послала ему необыкновенную удачу: самых крутых из оппонентов (крайних левых), как среди эсеров, так и среди социал-демократов, в Думе не было. На его счастье они бойкотировали выборы. Во-вторых, Основной закон империи, дарованный царем народу 6 мая 1906 года, был, по сути, «псевдоконституцией» (по выражению Макса Вебера). Царь сохранил за собой полный контроль над внешней политикой и вооруженными силами, над императорским двором и государственной собственностью, сохранил даже титул самодержца. Правительство несло ответственность перед ним, не перед Думой. Больше того, в перерывах между сессиями царь, то есть Столыпин, мог издавать рескрипты, имевшие силу законов. Короче, поле для маневра имелось. Тем более что с либералами было куда легче договариваться и искать компромиссы, нежели с «непримиримыми», бояться импичмента царю не приходилось, двор все еще не избавился от испуга – и потому готов был примириться с любыми маневрами Столыпина.

Путч

Но о завтрашнем дне наш герой не привык, как мы уже говорили, задумываться. Несмотря на то, что и слепому было очевидно: «непримиримые» больше не окажут ему услугу и бойкотировать вторую Думу не будут; что к следующим выборам двор от испуга оправится и свяжет ему руки для маневра, – он бесцеремонно разогнал либеральную Думу. И в результате получил то, что должен был получить: Думу недоговороспособ-

ную. Иначе говоря, сам загнал себя в угол. Чем ответил на это Столыпин? Государственным переворотом 3 июня 1907 года, по сути, путчем. Я не знаю, как иначе назвать невероятное по наглости – и произволу – изменение избирательного закона, согласно которому голос помещика приравнивался отныне к четырем голосам предпринимателей, к 65 голосам людей свободных профессий, к 260 крестьянским и 540 рабочим голосам. В итоге 200 тысяч помещиков были представлены в третьей Думе точно так же, как десятки миллионов остального населения империи – их было теперь 50 % (!). Подавляющее большинство народа было попросту лишено права голоса. Дума больше не воспринималась как народное представительство.

Я не уверен, что такое драконовское, неслыханное ранее в конституционной истории изменение избирательного закона можно назвать ошибкой Столыпина. Скорее свойство характера – резкого, нетерпеливого, предпочитавшего рубить сплеча, не очень, скажем прямо, подходящего для государственного деятеля масштаба Бисмарка... или Ельцина. Это было видно уже в случае с военно-полевыми судами. Тогда, чтобы погасить многочисленные скандалы, пришлось закрыть 206 (!) газет. Только



С. Ю. Витте

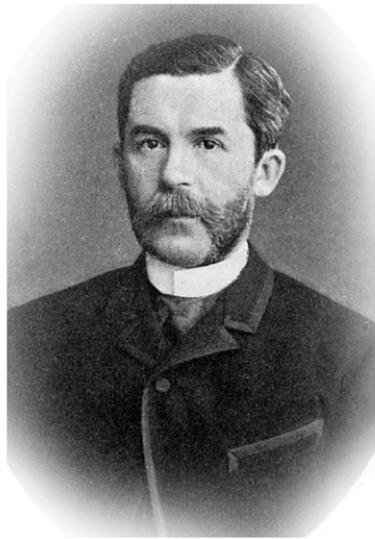
знаменитый рассказ Леонида Андреева да отчаянный вопль Толстого прорвались через цензуру. Так или иначе, третьеиюньский переворот остался в истории как всем фальсификациям фальсификация, куда там сегодняшнему Чурову с его кустарными «каруселями»!

Но дело было не только в том, что Столыпин не мог представить себе Россию без помещичьего землевладения (тем более, заметим в скобках, без самодержавия). Дело было еще и в том, что впоследствии именовалось

великодержавным шовинизмом. А он был без преувеличения гомерическим, немыслимым для империи, желающей сохраниться как империя. Даже Путин назвал лозунг «Россия для русских» «придурочным». Но, судя по итогам путча, именно этого и добивался Столыпин. Судите, впрочем, сами. Если в первой Думе число великороссов примерно равнялось числу представителей национальных меньшинств (что соответствовало их численности в империи), то в третьей – великороссов было 377, а все национальные меньшинства, включая украинцев, поляков, белорусов, финнов, татар, евреев, кавказцев, представляли 36 (!) депутатов. Я не упоминаю народности Средней Азии только потому, что они – по причине «отсталости» – были вообще лишены права голоса.

Короче, руссификатором Столыпин был перворазрядным, и то, что финны все еще говорили на своем языке, долго не давало ему покоя. А что означало лишение представительства всех национальных меньшинств для будущего России, не требует объяснения. Право, в ретроспективе «спаситель империи» выглядит революционером, причем, прав был Толстой, равным по разрушительной силе своих действий всем революционерам вместе взятым. И поразительное дело, консервативный и подозрительный двор ничего не заметил: избавление от всех этих противных либералов и «мужичья» в Таврическом дворце рассматривали там как окончание революции. Тем более что и не пошевелилась Россия после разгона второй Думы.

Еще поразительнее, однако, что и Столыпин не понял: для него это тоже было началом конца. Он-то устраивал свой путч, чтобы ему не мешали проводить крестьянскую реформу, а двору его реформа



П. Н. Дурново

была до лампочки. Его нанимали для подавления революции, а не для реформ. И поскольку мавр, похоже, свое дело сделал, вчерашний страх сменился новым высокомерием.

Царь оправдывал путч лениво: я, мол, самодержец и что даровал, имею права и отнять. И вообще как помазанник Божий отвечаю лишь перед Ним. Пожалуй, нигде, кроме России, не говорила в XX веке верховная власть со своим народом на столь архаическом языке. Нет слов, столыпинское извинение звучало более интеллигентно: «Бывают, господа, роковые моменты в жизни государства, когда государственная необходимость стоит выше права и когда надлежит выбирать между целостью теорий и целостью государства». Но что, спрашивается, в тогдашней России угрожало целости государства, кроме его собственного избирательного закона, буквально толкавшего национальные окраины к сепаратизму?

Как бы то ни было, немедленный выигрыш, тот, что Столыпин ценил выше любых завтрашних химер, был очевиден. В третьей Думе правительство получило поддержку 310 депутатов: 160 русских националистов и 150 октябристов. О том, легитимна ли была такая Дума в глазах народа, практически лишённого в ней представительства, он, увы, не подумал. Но России эта особенность его характера аукнется страшно. Достаточно вспомнить популярность и силу Советов в феврале 1917-го, чтобы понять, что первый камень в подрыв легитимности Временного правительства заложил своим антиконституционным путем именно Столыпин. Просто потому, что *своих представителей* большинство видело в демократических Советах, а не в нелегитимной Думе.

Реформатор

Нет спора, все, что делал тогда Столыпин, как бы странно это впоследствии ни выглядело, делалось «во благо». Он спасал империю царей. Он искренне верил в успех своего безнадежного дела. Другой вопрос, затруднила его работа или облегчила в 1917-м Ленину задачу – сокрушить Временное правительство и с ним свободу России? И едва зададим мы этот вопрос, как отпадут все сомнения: Столыпин – фигура и впрямь трагиче-

ская. Но это, главное, еще подождет. Сначала о его реформе, о том, с чем он вошел в историю, хотя Сергей Витте и оспаривал ее авторство.

Сутью ее была, как мы знаем, попытка разрушить крестьянскую общину, доделав тем самым то, на что не решился царь-освободитель. Попытка, абсолютно необходимая, если суждено было России стать нормальной европейской страной. Другой вопрос, выполнима ли была эта задача в стране с «думским самодержавием» и склонностью к патриотическим истериям. Консенсус современных историков – и западных и советских (Огановский, Робинсон, Флоринский, Карпович, Лященко) – таков: к 1916 году 24 % крестьянских домохозяйств действительно выделились из общины. Правда, состоит этот консенсус также в том, что столыпинская реформа представляла собой, помимо прочего, еще и отчаянную – и обреченную – попытку спасти помещичье землевладение, заставив крестьян перераспределять землю, которой они и без реформы владели. Тем более что непонятно было, как сложится судьба тех 76 % крестьян, что остались в общинах.

Кто знает, посвяти Столыпин столько же внимания и ресурсов, сколько посвятил он разрушению общины, переселению в Сибирь и обустройству в ней крестьянской бедноты, реформа могла бы и не облегчить Ленину задачу разрушения России. Но он не посвятил. Хотя это было, пожалуй, куда более важным, нежели помощь тем, кто выселялся из общины на хутора. Если бы хоть на минуту предвидел он, какую страшную рознь посеет его половинчатая реформа в деревне, он, быть может, и сменил бы приоритеты в пользу Сибири и занял более активную позицию в борьбе против «партии войны» в имперском истеблишменте. Впрочем, предвидение не было, как мы уже убедились, его сильной стороной. Хотя совсем не трудно было представить себе, что непереселенная и необустроенная на свободных землях Сибири крестьянская беднота возненавидит выделившихся «кулаков» так же, как помещиков, и ненависть эта грозит в случае войны новой пугачевщиной, найдись только у нее подходящей лидер.

Лидер, как мы знаем, нашелся. Вся стратегия Ленина построена была, по сути, на союзе пролетариата с этим

беднейшим крестьянством, с теми самыми 76 %, оставшимися в нищей перенаселенной деревне. И «военная партия» – таки победила. Царь нарядил в солдатские шинели десять миллионов крестьян и послал их в окопы ненужной России войны, дав им в руки оружие – и подписав тем самым смертный приговор режиму. Стратегию Ленина Столыпин, конечно, предвидеть не мог, но то, что война сорвет его реформу, особой догадливости не требовало.

Он даже намекал на возможность такого исхода: «Дайте мне двадцать лет мира, – говорил он, по существу, умолял, – и вы не узнаете Россию». Но что была его мольба в глазах двора по сравнению с соблазном русского Константинополя и креста на Св. Софии? Эти-то были совершенно уверены, что с революцией покончено, и обновления страны ожидали они не от реформы, а от расширения империи и от связанной с этим патриотической истерии.

О шансах Столыпина расформировать мощную «военную партию» – при дворе, в Генеральном штабе и Думе, – и тем более «развязаться» с союзниками, втягивавшими Россию в роковую для нее войну, мы поговорим в следующих главах. Замечу лишь, что шансы эти были, мало сказать, невелики, имея в виду что на дворе бушевала патриотическая истерия и во главе «партии войны» стоял сам царь, они, эти шансы, не очень отличались от нуля (этим, скорее всего, объясняется странная, как мы увидим, пассивность Столыпина). С другой стороны, не мог он не понимать, что остановленная войной на полдороге крестьянская реформа угрожает самим основам режима, который он пытался спасти. Представьте теперь ситуацию человека, который видит, что на дело его жизни надвигается рок, и остановить этот рок он не только не может, но даже попытаться не смеет. Это, собственно, и имею я в виду, когда говорю, что перед нами фигура трагическая. Все знать, все понимать – и чувствовать, что бессилён изменить неминуемый смертельный финал. Как иначе, если не трагедией, вы это назовете?

Веру в сакральность самодержавия впитал Столыпин с молоком матери. Но НЕ пойти против царя означало гибель не только его реформы, ради которой готов он был на все, что до тех пор делал, включая военно-полевые суды и путч 1907 года,

превративший конституцию в фарс. Больше того, не пойти против царя могло означать и гибель священного для него самодержавия. При всем том, однако, пойти против царя не посмел бы он ни при каких обстоятельствах. Смог бы он жить с этим разрывающим сердце противоречием?

Я знаю, что мысль, которой завершаю я эту главу, может показаться – и многим, очень многим, если не всем, наверное, покажется – кощунственной. Быть может, нелепой. Никто никогда не говорил и даже, я подозреваю, не думал ни о чем подобном. Я думаю, что роковой выстрел в Киевском театре 11 сентября 1911 года, положивший конец невыносимому мучению Столыпина, был для него благословением. Ему не довелось увидеть крушение своего детища. И крах священного для него самодержавия – тоже.

ПЛАН-19

Могла ли Россия не проиграть Первую мировую?

Остается нам обсудить решающую для этого цикла тему: можно ли представить себе историю России в XX веке без Ленина, другими словами, могла ли Россия избежать октябрьской катастрофы семнадцатого года (или, в другой редакции, Великой Октябрьской социалистической)? И если могла, то кто виноват в том, что она ее не избежала, – гений Ленина



Николай II

или Русская идея, слелавшая его победу неминуемой? Все предшествующие главы посвящены были, по сути, концептуальной и терминологической подготовке к ответу на этот вопрос.

У темы, правда, два совсем разных аспекта. Первый – военный: существовала ли стратегия, при которой Россия могла оказаться в стане победителей в Первой мировой войне (самоочевидно, что в победоносной России большевизм был обречен так же, как во всех других странах-победительницах)? И если такая стратегия существовала, то что помешало ее реализовать? Второй аспект темы – политический: могла ли Россия попросту не ввязываться в эту войну, имея в

виду, что никакие непосредственные ее интересы на кону не стояли, никто ей не угрожал, и вообще была для нее эта война, что называется, в чужом пиру похмелье? И если могла, то кто ее в эту чужую войну втянул?

У Британской империи Германия оспаривала господство на морях, с Францией у нее были старые счеты по поводу Эльзаса, к России претензий у нее не было. Не говоря уже, что Россия была ее крупнейшим торговым партнером и ничего подобного антифранцузскому «плану Шлиффена» для вторжения в Россию у Германии, как мы теперь знаем, тоже не было. Единственное, что могло их поссорить – панславизм. Германия не позволила бы расчленить, как требовали каноны панславизма, ни свою союзницу Австро-Венгрию, ни Турцию, которую намеревалась сделать союзницей.

Прав, выходит, американский историк Ниалл Фергюсон, что выбора – воевать или не воевать – не было в 1914 году лишь у Бельгии и Франции, на них напали, они должны были защищаться, остальные вступили в войну по собственному выбору. Чем же в таком случае объяснить роковой выбор России?

Я думаю, понятно, почему эта тема решающая. Если верить мировой историографии, именно Первой мировой войне обязана Россия победой Ленина в октябре 1917 и тем, что за ней последовало, то есть, по сути, всей своей трагической историей XX столетия. Ведь мог же, в конце концов, Ленин уехать в Америку, как намеревался еще за год до Октября, тем более что там уже ждал его Троцкий. И на этом закончилась бы история большевизма. Мог, конечно, уехать, сделай тогда Россия другой выбор. Но она выбрала войну.

Понимаю, могут найтись читатели, которым эта тема покажется сугубо академической, мол, что было, то было и быльем поросло. С другой стороны, помимо общей, антропологической, если хотите, проблемы исторической памяти, помимо того, проще говоря, что страна, потерявшая память, подобна человеку, пораженному амнезией (долго ли сможет он в таком состоянии жить на белом свете?), есть ведь и проблема исторических ошибок, которые имеют коварное свойство повторяться.

Один такой случай повторения ошибки произошел практически на нашей памяти, когда, едва отделившись от одной

утопии, панславистской, Россия тотчас принялась за воплощение другой – ленинской, снова, как выяснилось, обрекавшей страну на катастрофу. Увы, другой возможности обрести иммунитет от повторения ошибок, кроме исторической памяти, не существует. Обрела ли Россия, наконец, такой иммунитет? Судя по бушующей с начала 2014 года в официальных СМИ «патриотической» истерии, пока нет. Пытаются навязать стране третью утопию – имперское евразийство. Словно мало им двух национальных катастроф в одном столетии! Выйдет ли у них на этот раз? Не думаю.

Но это о будущем, а я о том, с чего все началось. Исхожу я из того, что руководители императорской России совершили в 1914 году ДВЕ фатальные ошибки, военную и политическую. Эта глава посвящена ошибке военной. Я беру на себя смелость утверждать, что стратегия, благодаря которой Россия имела шанс, если не победить в Первой мировой войне, то, по крайней мере, не потерпеть в ней поражение, существовала. Уверен я потому, что это вовсе не мое мнение. Так гласила директива Генерального штаба российской армии, известная в просторечии как

План-19

Предложен он был полковником Юрием Даниловым, имевшим репутацию «главного стратега русской армии». Он считал, что в случае, если Россия «вступит в войну с тевтонскими державами, отказавшись от оборонительной стратегии Петра Великого и Кутузова», она заведомо обречена на поражение. Ибо западная ее граница в принципе незащитима. Польский выступ делал ее уязвимой для флангового удара одновременно с территории Австро-Венгрии и Восточной Пруссии. В этом случае главные силы армии, сосредоточенные в западных губерниях, оказались бы отрезанными от коммуникаций, окружены. «В котле», говоря современным языком.

Разумно было поэтому, по мнению Данилова, отдать неприятелю десять западных губерний, включая часть собственно русской территории с тем, чтобы без спешки провести мобилизацию, заставить неприятеля растянуть коммуникации

и сконцентрировать силы для нанесения сокрушительного контрудара в направлении по нашему выбору.

Патрон Данилова, начальник Генштаба Сухомлинов, был большой дипломат. Не зря же год спустя, в 1910-м, он стал военным министром и еще два года спустя отрекся от своих убеждений (за что после Февральской революции был приговорен к пожизненному заключению и впоследствии освобожден большевиками). Но тогда Сухомлинов был согласен со своим «главным стратегом» полностью. Больше того, он, по-видимому, понимал социально-психологический смысл этого плана лучше Данилова: вторжение неприятеля на русскую землю само собою развязало бы энергию патриотизма и нейтрализовало нигилистов.

Представлял себе Сухомлинов, однако, и подводные камни на пути реализации даниловской стратегии. Прежде всего, официальная военная доктрина Александра III, доставшаяся России от времен контрреформы, была вовсе не оборонительной, а наступательной. В основе ее лежал упреждающий удар на Берлин, нечто вроде стратегии Сталина в изображении Виктора Суворова. Собственноручно описал ее неудачливый стратег Балканской войны 1870-х Александр III, изречение которого так любят цитировать национал-патриоты, мол, у России есть только два союзника – русская армия и русский флот. На самом деле стратегия эта предусматривала тесный союз с Францией. Цитирую: «Следует сговориться с французами и, в случае войны между Германией и Францией, тотчас броситься на немцев, чтобы не дать им времени сначала разбить французов, а потом наброситься на нас».

В том и состоял второй подводный камень, который усмотрел Сухомлинов в плане Данилова: он рушил надежды французов, что Россия немедленно после начала войны атакует Восточную Пруссию, как обещал им Александр III, отвлекая с Западного фронта немецкие силы на защиту Берлина. Именно в НЕМЕДЛЕННОСТИ этой атаки и состояла для французов вся ценность альянса с Россией (который, замечу в скобках, знаменитый американский дипломат и историк Джордж Кеннан назвал «роковым альянсом»). Третий подводный камень, из-за которого могли поднять гвалт «патриоты» в Думе, был в том,

что Данилов предлагал снести все десять крепостей, защищавших западную границу.

Опытный политик Сухомлинов не сомневался, что буря поднимется именно из-за крепостей. И был прав. Негодование союзников не произвело впечатления ни на думских «патриотов», ни на императорский двор. Об обещаниях Александра III никто и не вспомнил. Россия, как оказалось, ни в грош не ставила тогда интересы союзников.

Справедливости ради заметим, что и союзники не так уж близко к сердцу принимали интересы России. Вот неопровержимое свидетельство. 1 августа 1914 года князь Лихновский, немецкий посол в Лондоне, телеграфировал кайзеру, что в случае русско-германской войны Англия не только готова остаться нейтральной, но и **ГАРАНТИРУЕТ НЕЙТРАЛИТЕТ ФРАНЦИИ**. Обрадованный кайзер тотчас приказал своему начальнику Генштаба Мольтке перебросить все силы на русский фронт.

Мольтке ответил, что поздно: машина заведена, дивизии сосредоточены на бельгийской границе и ровно через шесть недель они, согласно плану Шлиффена, будут в Париже. Выходит, что от соблазна оставить Россию один на один с германской военной машиной спасла союзников вовсе не лояльность «роковому альянсу», но лишь догматизм немецкого фельдмаршала.

Помимо всего прочего, доказывает это неизреченную наивность национал-либералов Временного правительства, до последнего дня настаивавших на лозунге «Война до победного конца!», чтобы – не дай бог – не подвести союзников. Есть замечательный документ, запись беседы Керенского в 1928 году с известным магнатом британской прессы лордом Бивербруком. Вот как ответил Керенский на вопрос, могло ли Временное правительство остановить большевиков, заключив сепаратный мир с Германией: «Конечно, мы и сейчас были бы в Москве». И когда удивленный лорд спросил, почему же они этого не сделали, ответ показался ему изумительным: «Мы были слишком наивны». Даже через четырнадцать лет после бегства из Петрограда толком не понял Керенский, что тогда произошло.

А произошло вот что. Панславизм, идея-гегемон постниколаевской России, полностью завоевал умы своих вчерашних

оппонентов. В полном согласии с формулой Соловьева бывшие западники, стоявшие теперь у руля страны, сами того не сознавая, превратились в национал-либералов и вели страну к «самоуничтожению». Именно это и предсказывал, напомним читателю, еще в 1880-е Владимир Сергеевич Соловьев. Выходит, не зря посвятили мы столько места в начальных главах «человеку с печатью гения на челе». И зря не услышали его вершители судеб России.

Козырной туз

Вернемся, однако, к истории Плана-19. Да, опасения Сухомлинова оправдались: «патриотическую» бурю в Думе план и впрямь вызвал. Но тут и предъявил он «патриотам» заранее подготовленного козырного туза – доклад человека, устами которого говорила, казалось, сама ее величество Наука. Речь об известном докладе генерала Винтера, самого выдающегося тогда в России военного инженера, «нового Тотлебена», как его называли, чьи рекомендации легли в основу Плана-19. Вот они.

1. Бессмысленно содержать на западной границе десять безнадежно устаревших крепостей, которые не выдержат и первого штурма тевтонских держав с их современной осадной артиллерией.

2. В случае войны следует заранее примириться с потерей территории, в первую очередь Польши. Хотя бы потому, что наступательная стратегия лишает Россию ее главного преимущества перед другими европейскими странами – уникальной протяженности тыла.

3. Прекратить дорогостоящее строительство дредноутов и употребить эти деньги на покупку подводных лодок, торпедных катеров и аэропланов.

4. А поскольку Россия к большой войне не готова, лучше вообще не вовлекать ее в европейский конфликт. Тем более что воевать лишь для того, чтобы помочь кому-то другому, – верх безрассудства (сколько я знаю, Винтер был первым, кто публично употребил выражение «спокойный нейтралитет» в случае конфликта, прямо не затрагивающего интересы России).

Как бы то ни было, Данилов поправки Винтера принял. И козырный туз сработал. Винтера уважали все. Во всяком случае, царь подписал План-19. Начиная с 1911 года, он стал официальной директивой Генерального штаба.

Тихая смерть Плана-19

Увы, рано торжествовал победу Данилов. Военный человек, он упустил из виду то, что происходило в обществе. А в обществе то разгоралась, то затухала затяжная патриотическая истерия. Началась она еще в 1908 году, когда, как пишет канадский историк Хатчинсон, «решение правительства не объявлять войну Австро-Венгрии, аннексировавшей Боснию, рассматривалось октябристами как предательство исторической роли России». Заметьте, что речь шла о правительстве Столыпина и что выступили с этим вопиюще панславистским обвинением октябристы, партия большинства в третьей Думе, позавчерашние западники, вчерашние национал-либералы, а после 1908 года матерые национал-патриоты.

Славянофилы третьего поколения, почувствовав неожиданную поддержку, всячески, разумеется, раздували истерию, главным образом бешеной антигерманской пропагандой, объявив Германию «главным врагом и смутьяном среди белого человечества». Чем не угодила им Германия, рациональному объяснению не поддается. Разве что тем же, чем не угодила их сегодняшним наследникам Америка: она заняла место России на сверхдержавном Олимпе. К Америке, впрочем, относились тогда скорее нежно, как сейчас относятся к Германии, она ведь еще не была в ту пору сверхдержавой, а Германия была.

Помните у Некрасова: Бредит Америкой Русь, / К ней тяготей сердечно. / Шуйско-Ивановский гусь – американец? Конечно! / Что ни попало – тащат / «Наш идеал, – говорят, – / Заатлантический брат»? Как видите, ничем, кроме наполеоновского комплекса России, объяснить неожиданное превращение вчерашнего «заатлантического брата» в сегодняшнего «пиндоса» и вчерашнего «колбасника» в «идеал» невозможно.

Не ведаю, почему были тогда так уверены славянофилы, что, сокрушив Германию, именно Россия займет вакантное

место на Олимпе. Но это факт. В одной из предыдущих глав я уже, как легко проверить, доказал его документально. Так или иначе, если Германия была тогда полюсом зла в славянофильской вселенной, то полюсом добра была, конечно, Сербия. Ей уже простили и предательский союз с «Иудой-Австрией» в 1881–1896, и отречение от России после ее поражения в Русско-японской войне в 1905-м, она снова стала зеницей ока, тем «хвостом, что вертел собакой». И, как всегда, не давала ей покоя мечта о Великой Сербии.

В октябре 1912-го она неожиданно оккупировала Албанию. Правда, ненадолго. Две недели спустя – после жесткого ультиматума Австро-Венгрии – ей пришлось оттуда убраться. Но патриотическая истерия в России достигла нового пика. Европа тоже тогда взволновалась из-за сербской агрессии, но Россия-то была вне себя лишь из-за того, что австрийцы посмели предъявить сербам ультиматум, не спросив у нее позволения. Обидели «единокровную и единоверную»! Это было плохим предзнаменованием.

Ибо, едва вмешался в дело панславизм, План-19 был обречен. Я не нашел в источниках упоминания, когда именно и



Ю. Н. Данилов



В. А. Сухомлинов

почему он был отменен. Сужу поэтому по косвенным признакам. Например, по тому, что тотчас после октября 1912 года внезапно переменял фронт Сухомлинов, еще год назад праздновавший вместе с Даниловым победу оборонительной стратегии. Его неожиданное заявление: «Государь и я верим в армию, из войны может произойти для России только хорошее» могло означать лишь одно – истерия достигла такого накала, что в дело вмешался царь. И оказавшись перед выбором между будущим страны и карьерой, Сухомлинов выбрал карьеру.

Сужу также по обвинениям в адрес Сухомлинова в славянофильской прессе, что при нем «военные отбились от рук, подменили духоподъемную стратегию войны государя императора Александра III темной бумагой, подрывающей дух нации». Короче, стратегические соображения оказались бессильны перед панславизмом. Идея-гегемон торжествовала победу над реальностью. И возвращались ветры на круги своя, словно никакого Плана-19 и не было.

* * *

Могла ли Россия не потерпеть поражение в Первой мировой войне? Возможно, могла, когда б не гигантская «патриотическая» волна, похоронившая План-19. Волна, которой, как и накануне Балканской войны 1870-х, не смог противостоять ни Генеральный штаб, ни премьер-министр, ни даже царь. Но, бога ради, причем здесь Ленин?

О политическом аспекте нашей финальной темы в следующих главах.

КАТАСТРОФА

По мере того как приближаемся мы в этом цикле к роковым датам июля 1914-го и февраля 1917-го, центральные вопросы нашей темы все усложняются. Поначалу, как мы помним, казалось, что у них лишь два аспекта – военный и политический, теперь мы видим, как отчетливо раздваивается сам их политический аспект. Если в первой его части, до июля 14-го, все, в конечном счете, зависело от решения царя, то во второй – после его отречения – решали дело сменявшие друг друга Временные правительства.

Здесь поговорим о том, что предшествовало царскому Манифесту 19 июля (1 августа) 1914 года, которым, ссылаясь на свои «исторические заветы», Россия объявила, что будучи «единой по вере и крови со славянскими народами, она вынуждена перевести флот и армию на военное положение». Другими словами, ввязалась в войну, которая иначе, чем катастрофой, закончиться для нее не могла.

Предварим мы этот разговор лишь двумя парадоксальными, скажем так, соображениями. Первое. «Тринадцатый год кончился для России, – вспоминал впоследствии П. Н. Милюков, – рядом неудач в балканской политике. Казалось, Россия



А. Ф. Керенский

уходила [с Балкан] и уходила сознательно, сознавая свое бессилие поддержать своих старых клиентов своим оружием или своей моральной силой. Но прошла только половина четырнадцатого года, и с тех же Балкан раздался сигнал, побудивший правителей России вспомнить про ее старую, уже отыгранную роль – и вернуться к ней, несмотря на очевидный риск вместо могущественной защиты балканских единоверцев оказаться во вторых рядах защитников европейской политики, ей чуждых».

Парадокс здесь вот в чем. Если Россия уже осознала свое бессилие восстановить былое влияние на Балканах, то зачем ей было вступать в войну ради этого безнадежно утраченного влияния? Едва ли найдется читатель, сколь угодно антибольшевистски настроенный, который объяснил бы этот неожиданный, чтобы не сказать, безумный поворот в политике России происками Ленина и большевиков, влияние которых на принятие решений было, мы уже говорили, примерно равно влиянию на сегодняшнюю политику Лимонова и его национал-большевиков, то есть нулю. Но если не они, то КТО? Ну, буквально же никого не остается, кроме панславистской камарильи при императорском дворе, поддержанной мощным напором патриотической истерии в прессе и коридорах Думы.

Теоретически остановить вступление России в самоубийственную для нее войну можно было: в ту пору за племенные и конфессиональные интересы воевали разве что африканские племена, и в этом смысле царский Манифест лишь продемонстрировал немислимую в тогдашней Европе африканскую отсталость России. Но на практике – без сильного лидера «партии мира» и альтернативной рациональной стратегии – сопротивляться истерии оказалось бесполезно.

К тому же выводу приводит и второй парадокс. Достаточно было в России и здравомыслящих, то есть не затронутых истерией людей, и не молчали они, и писали, что дело идет к катастрофе, и даже предлагали более или менее серьезные планы остановить ее вступление в войну (мы еще поговорим о них подробно) – но услышать их оказалось некому. Так же как не слышали Герцена за шумом, визгом и яростью одной из предыдущих «патриотических» истерий в 1863 году.

«Для нас, людей, не потерявших человеческого здравого смысла, одно было ясно, – записывала в «Петербургском дневнике» Зинаида Гиппиус, – война для России не может кончиться естественно; раньше конца ее – будет революция. Это предчувствие, более – это знание разделяли с нами многие». Ужасное и странно знакомое ощущение, когда предчувствуешь, знаешь, что твоя страна, и ты вместе с нею, катишься в пропасть – и ничего не можешь сделать, чтобы ее остановить. Ну, что сделали бы в такой ситуации вы, читатель?

Самым пронзительным из этих предчувствий был знаменитый меморандум бывшего министра внутренних дел Петра Дурново, предсказавший исход войны в таких деталях, что историки уверены: не будь он извлечен из царского архива после Февральской революции, его непременно сочли бы апокрифом, то есть подделкой, написанной задним числом. А ведь вручен был этот меморандум царю еще за четыре месяца до рокового июля. Не прочитал? Или, еще хуже, прочитав, не понял, что читает приговор себе, своей семье и династии? И, что важнее, стране?

О планах спасения России

Основных попыток предотвратить вовлечение России в европейский конфликт я вижу три. Самым нереалистичным, хотя и необыкновенно дальновидным, было предложение Сергея Витте. Согласно ему России следовало стать посредницей при создании Континентального союза, в основе которого лежало бы примирение между Францией и Германией, что-то вроде будущего ЕС. Увы, полстолетия и две кровавых мировых войны понадобились европейским политикам прежде, чем созрели они для этой идеи Витте. В начале XX века она повисла в воздухе.

Вторую попытку сделал П. Н. Милюков. Еще в 1908 году во время своего балканского турне он убедился, что Сербия готова спровоцировать европейскую войну. Общение с молодыми сербскими военными позволило сделать ему два главных вывода. Во-первых, что «эта молодежь совершенно не считается с русской дипломатией». Во-вторых, что «рассчитывая

на собственные силы, она чрезвычайно их преувеличивает. Ожидание войны с Австрией переходило здесь в нетерпеливую готовность сразиться, и успех казался легким и несомненным. Это настроение казалось настолько всеобщим и бесспорным, что входить в пререкания на эти темы было совершенно бесполезно».

Попросту говоря, сербы сорвались с цепи. У них был свой имперский проект – Великая Сербия. И когда понадобилось для этого расчленить единокровную и единоплеменную Болгарию – они в 1913 году без колебаний ее расчленили. В союзе с турками, между прочим, с которыми еще за год до этого воевали. Как доносил русский военный аташе в Афинах П. П. Гудим-Левкович, «разгром Болгарии коалицией Сербии, Турции, Греции и Румынии, то есть славянской державы – коалицией неславянских элементов с помощью ослепленной мелкими интересами и близорукостью Сербии, рассматривается здесь как ПОЛНОЕ КРУШЕНИЕ ПОЛИТИКИ РОССИИ НА БАЛКАНАХ, о чем говорят мне, русскому, с легкой усмешкой и злорадством».



П. Н. Милюков



Р. Р. Розен

А если понадобится завтра сербам расчленить для своих целей Австро-Венгрию, как намеревались сербские военные, то уж перед этим они заведомо не останутся. Поэтому единственной возможностью уберечь Россию от вовлечения в европейский конфликт перед лицом отвязанной Сербии представлялась Милюкову «локализация конфликта», что в переводе с дипломатического на русский означало предоставить Сербию ее судьбе. Обосновал он свое предложение так: «Балканские народности показали себя самостоятельными не только в борьбе за освобождение, но и в борьбе между собою. С этих пор с России снята обуза об интересах славянства. Каждое славянское государство идет теперь своим путем и охраняет свои интересы. Россия тоже должна руководиться своими интересами. Воевать из-за славян Россия не должна».

Все, казалось бы логично. И Сербия даже не названа по имени. Но шторм в «патриотической» прессе грянул девятибалльный. Панслависты были вне себя. Милюков чуть было не потерял свою газету «Речь». Пришлось отступить. Далеко. Короче, повторил Милюков судьбу Сухомлинова, пережившего, как мы помним, в аналогичной ситуации фронт за год до него. Третья попытка удержать Россию на краю была (или могла быть) намного более серьезной и требует отдельного обсуждения. Но прежде

Ошибка Столыпина

Нет сомнения, что здравомыслящая часть высшей петербургской политической элиты была согласна с Милюковым. Столыпин не раз публично заявлял, что «наша внутренняя ситуация не позволяет нам вести агрессивную политику». С еще большей экспрессией поддерживал его министр иностранных дел Извольский: «Пора положить конец фантастическим планам имперской экспансии». И уж, во всяком случае, вступаться за отвязанную Сербию было для России, как все понимали, смерти подобно. Ведь за спиной Австро-Венгрии, которую отчаянно провоцировали сербы, стояла европейская сверхдержава Германия. Но и не вступаться за них перед лицом бешеной патриотической истерии могло означать политическую смерть,

как на собственной шкуре испытали в 1912 году Сухомлинов, а в 1913-м Милюков. Вот перед какой страшной головоломкой поставила предвоенную элиту царствовавшая в тогдашней России очередная, панславистская, ипостась славянофильства.

Единственным человеком, чья репутация спасителя России могла противостоять панславистскому шторму, был Столыпин. Во всяком случае, в 1908 году – пока страх перед революцией еще не окончательно развеялся в придворных кругах. И тут совершил он решающую ошибку: он недооценил опасность (или, как мы уже говорили, понял, что бессилён ее остановить). Впрочем, внешняя политика вообще мало его занимала. От нее требовал он лишь одного – мира. По крайней мере, на те два десятилетия, что нужны были ему для радикальной «перестройки» России. Его увлеченность своей крестьянской реформой понятна.

Но простительно ли было председателю Совета министров не обращать внимания на то, от чего сходил с ума его собственный министр иностранных дел? На то, что один неосторожный шаг Сербии – а Россия, как мы уже знаем, удержать ее от такого шага не могла, – и камня на камне не осталось бы от всей его «перестройки»? И достаточно ли было для того, чтобы ее спасти, делать время от времени антивоенные заявления?

На самом деле требовалась столь же радикальная переориентация внешнеполитической стратегии России, какую принял он в политике внутренней. И для этого следовало, по меньшей мере, создать столь же квалифицированную команду, какую создал Столыпин для крестьянской реформы. Днем с огнем искать людей, способных предложить принципиально новые идеи. Ничего этого, увы, Столыпин не сделал. Даже не попытался. Потому, собственно, и назвал я его фигурой трагической: не посмел идти против самодержца. Даже во имя спасения дела своей жизни. И вдобавок еще не понимал, что для царя и его окружения он всего лишь мавр, которого вышвырнут, едва убедятся, что он свое дело сделал. Не понимал, что время работает против него и надо спешить.

Так или иначе сильную внешнеполитическую команду Столыпин после себя не оставил, «людей с идеями» не нашел. И это особенно обидно потому, что для этого и ходить далеко

не нужно было. Человек, предлагавший своего рода **ВНЕШНЕ-ПОЛИТИЧЕСКИЙ ЭКВИВАЛЕНТ** столыпинской реформы, был под боком, в его собственном МИДе лишь двумя ступенями ниже министра.

План Розена

К сожалению, узнали мы об этом слишком поздно. Узнали из мемуаров Р. Р. Розена, изданных в 1922 году в эмиграции в Лондоне. Розен, кадровый русский дипломат, бывший посол в Японии, исходил из того, что первоочередной задачей внешней политики столыпинской России было избавиться от союзов, навязанных России контрреформой Александра III и способных втянуть ее в ненужную и непосильную для нее войну, – как от «рокового альянса» с Францией (требовавшего от России идти на смертельный риск ради чуждых ей интересов), так и от обязательств перед Сербией. И объяснял, как это сделать. Цинично, но в рамках тогдашней международной этики.

Розен понимал, что в обозримой перспективе идея Витте о континентальном союзе бесполезна, но для того чтобы «отвязаться» от Франции, она была превосходна. Заведомый отказ Франции присоединиться к такому союзу, предложенному Россией, мог быть истолкован как отказ от сотрудничества и разрыв обязательств по альянсу. Сложнее было с Сербией, но и тут можно было рассчитывать на могущественную союзницу, императрицу. Фанатическая роялистка, она не простила сербам убийство короля Александра Обреновича и королевы Драги в ходе государственного переворота 1903 года.

Да и счет предательствам, который Россия могла предъявить Сербии, был устрашающим. Начиная с того, что, присоединившись к Австрии на Берлинском конгрессе 1878 года, Сербия отняла у России все плоды ее победы в Балканской войне, и кончая отречением от России в 1905 году, в самый трудный для нее час, когда она больше всего нуждалась в союзниках. А ведь в промежутке было еще худшее предательство: пятнадцатилетний союз сербов с Австрией в 1881–1896 годах, то есть сразу же после того, как Россия положила десятки тысяч солдат под Плевной во имя сербской независимости.

Но главное даже не в этом. России вообще нечего было делать на Балканах, считал Розен. Более того, ее присутствие там противоречило ее экономическим интересам. Если состояли они в свободном проходе ее торговых судов через проливы, то дружить для этого следовало с Турцией, тяготевшей к Германии, а вовсе не с Сербией. Требовалось поэтому забыть о «кресте на Св. Софии» и прочих славянофильских параферналиях и, опираясь на поддержку императрицы (а стало быть, и царя, который, как известно, был подкаблучником) и мощного помещичьего лобби, чье благосостояние зависело от свободы судоходства в проливах, развязать широкую антипанславистскую кампанию за вооруженный нейтралитет России в европейском конфликте. И требовалось это срочно – пока звезда Столыпина стояла высоко.

Другого шанса, по мнению Розена, спасти реформу – и страну – не было. Перенос центра тяжести политики России с европейского конфликта и балканской мясорубки на освоение полупустой Сибири обеспечил бы Столыпину те двадцать лет мира, которых требовала его «перестройка». Я не знаю, какие изъяны нашел в этом плане Столыпин, но знаю: нет никаких свидетельств того, что он принял план Розена к исполнению. Быть может, еще и потому, что, подобно другому «перестройщику» России много лет спустя, планировал химеру. Его идея «самодержавия с человеческим лицом» имела ровно столько же шансов на успех, сколько надежда Горбачева на «социализм с человеческим лицом». Но если Горбачев все-таки добился крушения внешнего пояса империи, разрушив таким образом биполярный мир, балансировавший на грани самоуничтожения, то Столыпин всего лишь оставил Россию БЕЗ ЛИДЕРА – перед лицом грозящей ей катастрофы.

* * *

Нет спора, известный британский историк Доминик Ливен прав, когда пишет, что «с точки зрения холодного разума ни славянская идея, ни косвенный контроль Австрии над Сербией, ни даже контроль Германии над проливами ни в малейшей степени не оправдывали фатального риска, на который пошла Россия, вступив в европейскую войну». Ибо, заключает он, «результат мог лишь оправдать мнение Розена и подтвердить

пророчество Дурново». Но сама ссылка историка на Розена и Дурново свидетельствует, что в июле 1914 года Россия пошла навстречу катастрофе не по причине отсутствия «холодного разума», но потому, что в решающий час оказалась без лидера, способного противостоять патриотической истерии.

МОГЛИ ЛИ БОЛЬШЕВИКИ НЕ ПОБЕДИТЬ В 1917 ГОДУ?

Ситуация, сложившаяся в России после падения в марте 1917-го монархии, ничем не напоминала ту, довоенную, о которой мы так подробно до сих пор говорили. Тогда страна колебалась перед бездной, а в марте семнадцатого, после почти трех лет бессмысленной и неуспешной войны, бездна разверзлась. Можно ли еще было удержать страну на краю? Существовала ли, иначе говоря, альтернатива не только жесточайшему национальному унижению Брестского мира (вместе с частью страны пришлось отдать и ее золотой запас в качестве контрибуции), но и кровавой гражданской войне, голоду, разрухе военного коммунизма, «красному террору» – всему, короче, что принесла с собою Великая Октябрьская социалистическая?



Брусилловский прорыв. Бойня на реке Стоход. Художник П. Рыженко

Опять приходится отвечать двусмысленно: да, в принципе альтернатива Катастрофе существовала еще и в семнадцатом, по крайней мере, до первого июля, но реализовать ее оказалось, увы, опять-таки, как и в 1914-м, некому.

Как это могло случиться? Честнее спросить, могло ли это НЕ случиться, если даже такой блестящий интеллеktуал – и замечательно искренний человек, – как Николай Бердяев писал: «Я горячо стоял за войну до победного конца и никакие жертвы не пугали меня... Я думал, что мир приближается путем страшных жертв и страданий к решению всемирно-исторической проблемы Востока и Запада и что *России выпадет в этом решении центральная роль*» (курсив мой. – А. Я.)? Семен Франк был, возможно, не так знаменит, как Бердяев, но к первой десятке русских мыслителей принадлежал безусловно. Он, однако, был столь же категоричен: «Независимо от всех наших рассуждений и мыслей эта война сразу и с неколебимой достоверностью была воспринята самой стихией народной души как необходимое, нормальное, страшно великое и бесспорное по своей правомерности дело». Один за другим спускались из своих хрустальных башен высоколобые философы, чтобы отдать дань смертельной борьбе против «германо-монгольского» (согласно Вячеславу Иванову) или «германо-турецкого» (согласно Дмитрию Мережковскому) монстра.

Сопоставьте эти темпераментные тирады с сухой статистикой: к концу мая уже два миллиона (!) солдат дезертировали из действующей армии, не желая больше знать ни о «стихии народной души», ни о «германо-монгольском монстре», ни тем более о «войне до победного конца». Как могло случиться, что лучшие из лучших мыслителей России, цвет нации, больше не слышали свой народ?

Немного истории

Есть две главные школы в мировой историографии Катастрофы семнадцатого. Самая влиятельная из них, школа «большевистского заговора» (грубо говоря, захватила, мол, власть в зазевавшейся стране банда леваков). Соответственно сосредото-

точилась эта школа на исследовании закулисных сфер жизни страны, на перепетиях леворадикальных движений, затем партийных съездов социал-демократов, кульминацией которых было формирование заговорщического большевизма. Сосредоточилась на том, одним словом, что Достоевский называл «бесовством». Другая, ревизионистская, школа «социальной истории» доказывает, что Катастрофа была результатом вовсе не заговора, а стихийной народной революции, которую возглавили большевики.

Следуя теории Владимира Сергеевича Соловьева о «национальном самоуничтожении» России, мы неминуемо оказываемся еретиками в глазах обеих этих школ. Мало того, что мы разжалуем большевиков из генералиссимусов в рядовые, мы еще и демонстрируем, что нет никакой надобности заглядывать в темное закулирье русской жизни, если готовилась Катастрофа на виду, при ярком свете дня. Готовилась с момента, когда постниколаевская политическая – и культурная – элита НЕ ПОЖЕЛАЛА в годы Великой реформы стать Европой.

В эпоху, когда крестьянская частная собственность в Европе была повсеместной, она, эта элита, заперла крестьянство в общинном гетто, лишив его гражданских прав и законсервировав в допотопной московитской дремучести (что аукнулось ей полустолетием позже дикой пугачевщиной, той самой, которую ревизионисты именуют «народной революцией»). В эпоху, когда в Европе побеждала конституционная монархия, она примирилась с сохранением архаического «сакрального самодержавия» (спровоцировав тем самым две революции XX века – пятого года и февраля 17-го).

Дальше – больше. Ослепленная племенным мифом и маячившим перед нею видением Царьграда, втянула российская элита страну в ненужную и непосильную для нее войну (дав в руки оружие 10-миллионной массе крестьян, одетых в солдатские шинели). И до последней своей минуты у власти не могла себе представить, что единственной идеей-гегемоном, владевшей этой гигантской вооруженной массой, был не мифический Царьград, но раздел помещичьей и казенной земли (в 1913 году крестьянам не принадлежало 47 % всех пахотных земель в стране).

На фоне всех этих чудовищных и фатальных ошибок едва ли удивит читателя заключение, что русская политическая и культурная элита собственными руками отдала страну на разграбление «бесам». Совершила, как и предсказывал Соловьев, коллективное самоубийство, «самоуничтожилась». Посмотрим теперь, как это происходило на финишной прямой.

Двоевластие

Поскольку после роспуска всех имперских учреждений единственным легитимным институтом в стране оставалась Дума, Временное правительство («временное» потому, что судьбу новоиспеченной республики должно было решить Учредительное собрание, избранное всенародным голосованием) было сформировано из лидеров думских фракций. Парадокс состоял в том, что буквально с первого дня правительство столкнулось с двумя неразрешимыми проблемами.

Первая заключалась в сомнительной легитимности самой Думы (из-за столыпинской манипуляции с избирательным законом в 1907 году). Напомню ее суть. Один голос помещика был приравнен тогда к четырем голосам предпринимателей, к 65 голосам горожан среднего класса, к 260 крестьянским и 540 рабочим голосам. В результате 200 тысяч помещиков получили в Думе 50 % голосов. Удивительно ли, что воспринималась она как буржуазное, а не народное представительство?

Вторая проблема вытекала из первой. В тот же день, что и правительство, в том же Таврическом дворце возник Совет рабочих и солдатских депутатов, народное, если хотите, представительство: два медведя в одной берлоге. Впрочем, это было не так страшно, как может показаться. Медведи, как оказалось, вполне могли ужиться. На самом деле состав правительства был одобрен Советом. Ларчик открывался просто: Совет состоял из умеренных социалистов, которые исходили из того, что в России происходит «буржуазная революция» и руководить ею – под контролем народа, разумеется, – подобает «буржуазному» правительству.

Ссорились медведи, конечно, беспрестанно, чего стоит хотя бы знаменитый Приказ № 1, изданный Советом вопреки

правительству, но единственным и действительно неразрешимым разногласием между ними был вопрос о прекращении войны. Правительство стояло за «войну до победного конца», Совет – за немедленный мир без аннексий и контрибуций. Поэтому едва министр иностранных дел Миллюков заикнулся в апреле о Константинополе, Совет поднял Петроград против «министров-капиталистов» и профессору Миллюкову (хотя какой уж из него капиталист!) пришлось расстаться с министерским портфелем (заодно прицепили к нему и военного министра Гучкова).

В том же апреле явился из Швейцарии Ленин, усвоивший за годы изгнания идею перманентной революции Троцкого, и тотчас потребовавший «всю власть Советам», хотя в ситуации «буржуазной» революции эта власть Советам и даром была не нужна. Они-то надеялись УБЕДИТЬ Временное правительство, что продолжение войны для России смерти подобно. И, казалось, все карты шли им в руки. Во-первых, они сумели продемонстрировать свою силу, мобилизовав массы и изгнав из правительства «ястребов». Во-вторых, Ленина и большевиков можно было теперь использовать как пугало. И, в-третьих, самое важное: крестьяне по всей стране начали самовольно захватывать помещичьи земли и делить их, не дожидаясь Учредительного собрания. Удержать солдат в окопах, когда дома делили землю, выглядело предприятием безнадежным.

Тем более что армия и без того разваливалась, фронт держался на ниточке. Дезертирство достигло гротескных размеров и без Приказа № 1, а кто не дезертировал – брался с неприятелем. Наблюдая эту фантазмагорическую картину, германский командующий Восточным фронтом генерал Гоффманн записывал в дневнике: «Никогда не видел такую странную войну». Для России эта странная война шла плохо, чтобы не сказать безнадежно. Наступательная стратегия провалилась, как и предсказывал Данилов, в первые же недели военных действий. Французам помогли, но русская армия была разгромлена. Потери исчислялись десятками тысяч: 30 тысяч убитых. 125 тысяч сдались в плен. На других фронтах дела шли не лучше. Пали все десять западных крепостей, из-за которых

неистовствовали в свое время думские «патриоты». Польшу пришлось отдать. Финляндию тоже.

Казалось, правительство вот-вот капитулирует перед призраком всеобщей анархии. Факты били в глаза. Воевать страна больше не могла, нужно было быть слепым, чтобы этого не видеть. Именно этой уверенностью, надо полагать, и объясняется сокрушительная победа умеренных социалистов на первом Всероссийском съезде Советов в июне. У большевиков было 105 делегатов против 285 эсеров и 245 меньшевиков. Немедленный переход к социалистической революции, к которому призывал Ленин, представлялся дурной фантазией. Массы – опора умеренных – жаждали мира и помещичьей земли, в во-все не какого-то непонятого им «сцицилизма». Увы, те и другие недооценили Ленина.

Момент истины

Еще до съезда умеренные заполучили козырного туза. 15 мая Петроградский совет в очередной раз обратился со страстным посланием к «социалистам всех стран», призывая их потребовать от своих правительств немедленного мира без аннексий и контрибуций. В тот же день ответил ему – кто бы вы думали? – рейхсканцлер Германии Бетманн-Гольвег, предложивший России немедленный мир на условиях Совета – без аннексий и контрибуций. Стране с разваливающейся армией, неспособной больше воевать (немцы знали об этом не хуже русских министров) предлагался мир на почетных условиях.

Чего вам еще надо? Чего вы ждете? Чтобы армия совсем развалилась и те же немцы отняли у нас Украину, как отняли Польшу? – аргументировали представители Совета в споре с министрами. Разве вы не видите, что именно этого добивается Ленин? На лепет министров, что на карте честь России, что она не может подвести союзников, у Совета тоже был сильный ответ: о судьбе союзников есть кому позаботиться, Конгресс США уже проголосовал за вступление Америки в войну. Свежая и полная энтузиазма американская армия станет куда более надежным помощником союзникам, чем наш деморализованный фронт. Так или иначе Америка

позаботится о судьбе союзников. Но кто позаботится о судьбе России?

Аргумент был, согласитесь, железный: союзники не пропадут, но мы пропадаем. Правительство взяло паузу – до съезда Советов (что обеспечило победу умеренным). Но когда немцы продолжали настаивать – предложили перемирие на всех фронтах, и правительство его отвергло, – стало ясно, что на уме у него что-то совсем иное, что готовит оно вовсе не мирные предложения, как все предполагали, а новое наступление. Вот тогда настал час Ленина, большого мастера «перехвата» (вся аграрная программа большевиков была, как известно, «перехвачена» у эсеров). В роковом июле 1917-го «перехватил» Ленин у умеренных понятные массам лозунги – немедленный мир и землю крестьянам. Конечно, он и раньше говорил об этом, но первого июля *доказал*, что его партия – единственная, которую Временное правительство НИКОГДА НЕ СМОЖЕТ ОБМАНУТЬ. Для солдатской массы то был момент истины. Многое еще произойдет в 1917-м, но *этого* уже не изменит.

Брусиловский прорыв

Что, собственно, хотело Временное правительство доказать этим июльским демаршем на крохотном 80-километровом участке фронта, кроме того, что здравомыслящим людям с ним невозможно договориться, навсегда останется его тайной. Так или иначе, в Восточной Галиции был сосредоточен ударный кулак – 131 дивизия при поддержке 1328 тяжелых орудий – и первого июля он прорвал австрийский фронт в 70 километрах к востоку от Львова. Это было странное наступление. Как писал британский корреспондент Джон Уиллер-Бенетт, целые батальоны «отказались идти вперед и офицеры, истошив угрозы и мольбы, плюнули и пошли в атаку одни». До Львова, конечно, не дошли и, едва генерал Гоффманн ввел в дело германские войска, покатались обратно. Отступление превратилось в бегство.

Тысячи солдат покинули фронт. Десятки офицеров были убиты своими. В правительстве начался переполох. Князь Львов подал в отставку. Его заменил на посту министра-председателя

Керенский. На место уволенного генерала Брусилова был назначен Корнилов. Впрочем, эти перестановки уже не имели значения. Момент был упущен. Настоящим победителем в брусиловском «прорыве» оказался Ленин. Современный британский историк Орландо Фигес (в английской транскрипции Файджес) согласен с такой оценкой: «Основательней, чем что бы то ни было, летнее наступление повернуло солдат к большевикам, единственной партии, бескомпромиссно стоявшей за немедленный конец войны. Если бы Временное правительство заняло такую же позицию, начав переговоры о мире, большевики НИКОГДА не пришли бы к власти».

А публика в столицах и не подозревала, что судьба ее предрешена. Кабаре были полны, карточная игра продолжалась до утра. Билеты на балет с Карсавиной перекупались за бешеные деньги. Шаляпин был «в голосе», и каждый вечер в Большом был аншлаг. Люди как люди, что с них возьмешь? Интереснее ответить на недоуменное замечание другого британского историка Джеффри Хоскинга: как случилось, что «ни один член Временного правительства так никогда и не понял, почему солдаты покидали окопы и отправлялись по домам»?

В самом деле, почему?

На разных языках

Первое, что приходит в голову, когда мы пытаемся решить эту загадку, оказавшуюся фатальной для России 1917 года: члены Временного правительства и солдаты, которые в разгар войны отправлялись по домам, жили в разных странах, а думали, что живут в одной. Русские мыслители славянофильского направления интуитивно угадывали это задолго до войны. Я мог бы сослаться на кучу примеров, но сошлюсь лишь на самый авторитетный. Что, по вашему, имел в виду Достоевский, когда писал, что «мы, то есть интеллигентные слои страны, какой-то совсем уже чужой народик, очень маленький, очень ничтожненький»? Разве не то же самое обнаружилось в 1917-м: два народа, живущие бок о бок и не понимающие друг друга потому, что говорят на разных языках? Один из этих народов жил в Европе, другой, «мужицкое царство», – в Московии. В этом,

собственно, и заключается секрет того, как еще на три-четыре поколения продлила Московия свое существование в России после Октября: в момент эпохального кризиса «чужой народик» сам себя обманул, вообразив, что говорит от имени «мужицкого царства». А Ленин угадал московитский язык «мужицкого царства» и оседлал его. Надолго.

Как представляли себе члены правительства этот другой народ в солдатских шинелях? Прежде всего, патриархальным православным патриотом, для которого честь отечества как честь семьи дороже мира с ее врагами, и святыня православия, Царьград, дороже куска помещичьей земли. То есть это было стандартное утопическое славянофильское представление. Ленину, прожившему практически всю сознательную жизнь в эмиграции, оно было чуждо. Он знал, что ради этого куска земли «мужицкое царство» готово на все. Даже на поругание церквей. Как бы то ни было, один эпизод лета 1917-го, накануне июльского наступления, поможет нам понять эту «языковую», если можно так выразиться, проблему лучше иных томов.

Читатель, я полагаю, знает, что армия в то лето боготворила Керенского. Британская сестра милосердия с изумлением



Л. Г. Корнилов

наблюдала, как солдаты «целовали его мундир, его автомобиль, камни, на которые он ступал. Многие становились на колени, молились, другие плакали». Очевидно, ждали они от своего кумира слова, что переговоры о мире уже начались, что перемирие завтра и к осени они будут дома. Можно ли усомниться, что был он в их глазах тем самым добрым царем, который, наконец, пришел даровать им мир и землю? Потому-то испарилось вмиг их благоговение, едва услышали они вместо этого стандартную речь о

«русском патриотизме» и пламенный призыв (Керенский был блестящим оратором) «постоять за отечество до победного конца». Он сам описал в своих мемуарах сцену, которая за этим последовала.

Солдаты вытолкнули из своих рядов товарища, самого, видимо, красноречивого, чтобы задал министру вопрос на засыпку: «Вот вы говорите, что должны мы германца добить, чтоб крестьяне получили землю. Но что проку от этого будет мне, крестьянину, коли германцы меня завтра убьют?». Не было у Керенского ответа на этот вопрос, естественный в устах солдата-крестьянина, неизвестно за что воевавшего. И он приказал офицеру отправить этого солдата домой: «Пусть в его деревне узнают, что трусы русской армии не нужны!». Будто не знал, что по всей стране деревенские общины укрывают сотни тысяч дезертиров и трусами их не считают. Ошеломленный офицер растерянно молчал. А бедный солдат лишился от неожиданности чувств.

Прочитав этот рассказ Керенского, Орландо Фигес печально заключает: «Керенский видел в этом солдате урода в армейской семье. Уму непостижимо, как мог он не знать, что миллионы других думают точно так же». Вот вам и ответ на вопрос, до сих пор беспокоящий мировую историографию: «Почему Россия стала единственной страной, в которой в 1917 году победил большевизм?». Потому что Россия была единственной страной, в которой правящее образованное меньшинство не понимало язык неграмотного большинства.

Выиграли ли большевики схватку за власть? Скорее Временное правительство ее проиграло. Оно провело эту пешку в ферзи, отвергнув совершенно очевидную до



В. И. Ленин

первого июля альтернативу большевизму и упустив тем самым возможность вывести большевиков из игры. В этой ситуации большевики были, можно сказать, обречены победить. Их, если хотите, принудили к победе.

* * *

Таков был результат русской истории, начиная с XVI века, с поражения нестяжателей и отмены Юрьева дня при Иване Грозном до трехсотлетнего крепостного рабства, когда «чтение грамоты считалось (по выражению М. М. Сперанского) между смертными грехами», до крестьянского гетто при Александре II, до, наконец, «превращения податного домохозяина в податного нищего» при Александре III. И что не менее важно, это был результат Русской идеи, отрезавшей страну от источника политической модернизации, законсервировавшей пропасть между двумя Россиями, доведя ее до степени, когда они просто перестали друг друга слышать и понимать, заговорили на разных языках. С такой крестьянской историей, с такой вдобавок «языковой» глухотой правительства резонней, пожалуй, было бы спросить: как могли большевики НЕ победить в тогдашней России?

Другой вопрос, что сделала с большевиками, «красными» бесами по Достоевскому, неожиданно обретенная власть. Как увидим мы в следующей книге об истории Русской идеи, случилось с ними то, чего не могли предвидеть ни Ленин, ни Достоевский. Точно так же, как славянофилы до них, они ВЫРОДИЛИСЬ. «Красные» бесы превратились в «черных» бесов.

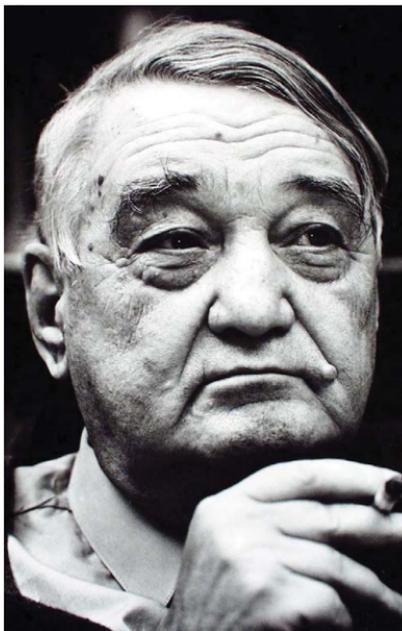
Приложение 1

«ПРОСВЕЩЕННЫЙ НАЦИОНАЛИЗМ» ЛЬВА ГУМИЛЕВА

Лев Николаевич Гумилев – уважаемое в России имя. Уважают его и «западники», которых он, скажем мягко, недолюбливал, и «патриоты». Вот что писал о нем с восхищением в «Литературной газете» «западник» Гелий Прохоров: «Бог дал ему возможность самому изложить свою теорию. И она стала пьянить, побуждая думать теперь уже всю страну». Андрей Писарев из «патриотического» «Нашего современника» в беседе с мэтром был не менее почтителен: «Сегодня вы представляете единственную серьезную историческую школу в России».

Возможно ли, что роль, которую предстоит сыграть Гумилеву в общественном сознании России после смерти еще значительней той, которую играл он при жизни? Так думает, например, С. Ю. Глазьев, советник Президента РФ и неофициальный глава Изборского клуба «собираателей» Российской империи, провозглашая в 2013 году Гумилева одним из «крупнейших русских мыслителей» и основоположником того, что именует он «интеграцией» Евразийского пространства.

Как бы то ни было, герой нашего рассказа, сын знаменитого поэта Серебряного века Николая Гумилева, расстрелянного большевиками во время гражданской войны, и великой Анны Ахматовой, человек, проведший



Л. Н. Гумилев

долгие годы в сталинских лагерях и сумевший после освобождения защитить две докторских диссертации – по истории и по географии, опубликовать девять книг, в которых оспорил Макса Вебера и Арнольда Тойнби, предложив собственное объяснение загадок всемирной истории, без сомнения был при жизни одним из самых талантливых и эрудированных представителей молчаливого большинства советской интеллигенции.

Как в двух словах сказать о том слое, из которого вышел Гумилев? Эти люди с режимом не воевали. Но и лояльны ему они были только внешне. «Ни мира, ни войны» – этот девиз Троцкого времен брестских переговоров 1918 года стал для них принципиальной жизненной позицией. По крайней мере, она позволяла им сохранить человеческое достоинство в условиях посттоталитарного режима. Или так им казалось.

Заплатить за это, однако, пришлось им дорого. Погребенные под глыбами вездесущей цензуры, они были отрезаны от мировой культуры и вынуждены были создать свой собственный, изолированный и монологичный мир, где идеи рождались, старились и умирали, так и не успев реализоваться, где гипотезы провозглашались, но навсегда оставались непроверенными. Всю жизнь оберегали они в себе колеблющийся огонек «тайной свободы», но до такой степени привыкли к эзоповскому языку, что он постепенно стал для них родным. В результате вышли они на свет постсоветского общества со страшными, незаживающими шрамами. Лев Гумилев разделил с ними все парадоксы этого «катакомбного» существования – и мышления.

Патриотическая наука

Всю жизнь старался он держаться так далеко от политики, как мог. Он не искал ссор с цензурой и при всяком удобном случае клялся «диалектическим материализмом». Более того, у нас нет ни малейших оснований сомневаться, что свою монументальную гипотезу, претендующую на окончательное объяснение истории человечества, он искренне полагал марксистской. Ему случалось даже упрекать оппонентов в отсту-

плениях от «исторического материализма». «Маркс, – говорил он, – предвидел в своих ранних работах возникновение принципиально новой науки о мире, синтезирующей все старые учения о природе и человеке». В 1980-е Гумилев был уверен, что человечество – в его лице – на пороге создания этой новой марксистской науки. В 1992-м он умер в убеждении, что создал такую науку.

Но в то же время он парадоксально подчеркивал свою близость к самым свирепым противникам марксизма в русской политической мысли XX века – евразийцам: «Меня называют евразийцем, и я от этого не отказываюсь. С основными выводами евразийцев я согласен». Яростно антизападная ориентация евразийцев его не пугала, хотя и привела она их – после громкого национал-либерального начала в 1920-е – к вырождению в реакционную эмигрантскую секту.

Ничего особенного в этой эволюции евразийства, разумеется, не было: все русские антизападные движения мысли, как бы либерально они не начинали, всегда проходили аналогичный путь деградации. В своей трилогии я описал трагическую судьбу славянофильства. Разница лишь в том, что их «Русской идее» понадобилось для этой роковой метаморфозы три поколения, тогда как евразийцы управились с этим на протяжении двух десятилетий. Нам остается только гадать, как уживалась в сознании Гумилева близость к евразийцам с неколебимой верностью марксизму-ленинизму.

Нельзя не сказать, впрочем, что это удивительное раздвоение, способность служить (Гумилев рассматривал свою работу как общественное служение) одновременно под знаменами двух взаимоисключающих школ мысли, резко отделяла его от того молчаливого большинства, из которого он вышел и которому были глубоко чужды как марксизм, так и тем более евразийство. И не одно лишь это его от них отделяло.

Гумилев настаивал на строгой научности своей теории и пытался обосновать ее со всей доступной ему скрупулезностью. Я ученый (как бы говорит каждая страница его книг), и политика, будь то официальная или оппозиционная, ничего общего с духом и смыслом моего труда не имеет. И в то же время, отражая атаки справа, ему не раз случалось доказывать

безукоризненную *патриотичность* своей науки. Опять это странное раздвоение.

Говоря, например, об общепринятой в российской историографии концепции монгольского ига XIII–XV веков, существование которого Гумилев отрицал, он с порога отбрасывал аргументы либеральных историков: «Что касается западников, то мне не хочется спорить с невежественными интеллигентами, не выучившими ни истории, ни географии» (несмотря даже на то, что в числе этих «невежественных интеллигентов» оказались практически все ведущие русские историки). Возмущало его лишь признание этой концепции историками «патриотического» направления. Вот это находил он «поистине странным». И удивлялся: «Никак не пойму, почему люди, патриотично настроенные, обожают миф об «иге», выдуманный немцами и французами. Непонятно, как они смеют утверждать, что их трактовка патриотична».

Ученому, оказывается, не резало слух словосочетание «патриотическая трактовка» научной проблемы. Если выражение «просвещенный национализм» имеет какой-нибудь смысл, то вот он перед нами.

Вопросы, которые он задал

Новое поколение, вступившее в журнальные баталии при свете гласности, начало с того, что дерзко вызвало к барьеру бывшее молчаливое большинство. Николай Климонтович писал в своей беспощадной инвективе: «И мы утыкаемся в роковой вопрос, была ли «тайная свобода», есть ли что предъявить, не превратятся ли эти золотые россыпи при свете дня в прах и золу?» Не знаю, как другие, но Лев Гумилев перчатку, брошенную молодым поколением, поднял бы с достоинством. Ему было что предъявить. Отважный штурм загадок мировой истории – это, если угодно, его храм, возведенный во тьме реакции и продолжающий, как видим, привлекать верующих при свете дня. Загадки, которые он пытался разгадать, поистине грандиозны.

В самом деле, кто и когда объяснил, почему, скажем, дикие и малочисленные кочевники-монголы вдруг ворвались

на историческую сцену в XIII веке и ринулись покорять мир, громя по пути богатейшие цивилизованные культуры Китая, Средней Азии, Ближнего Востока и Восточной Европы? И все лишь затем, чтобы два столетия спустя тихо сойти со сцены, словно их и не было. А другие кочевники, столь же внезапно возникшие из Аравийской пустыни и ставшие владыками полумира, вершителями судеб одной из самых процветающих культур в истории? Разве не кончилось их фантастическое возвышение превращением в статистов этой истории? А гунны, появившиеся ниоткуда и рассеявшиеся в никуда?

Почему вспыхнули и почему погасли все эти исторические метеоры? Не перечить историков и философов, пытавшихся на протяжении столетий ответить на эти вопросы. Но как не было, так и нет на них общепризнанных ответов. И вот Гумилев, опираясь на свою устрашающую эрудицию, предлагает ответы совершенно оригинальные. Так разве сама дерзость, сам размах этого предприятия, обнимающего 22 столетия (от VIII века до нашей эры) не заслуживает уважения?

Гипотеза

Одной дерзости, однако, для открытия таких масштабов мало. Как хорошо знают все причастные к науке, для того чтобы гипотезе поверили, должен существовать способ ее проверить. На ученом языке, она должна быть верифицируема. А также логически непротиворечива и универсальна, то есть объяснять все факты в области, которую она затрагивает, а не только те, которым отдает предпочтение автор, должна действовать всегда, а не только тогда, когда автор считает нужным. Присмотримся же к гипотезе Гумилева с этой, обязательной для всех гипотез точки зрения.

Начинает он с самых общих соображений о географической оболочке земли, в состав которой, наряду с литосферой, гидросферой, атмосферой, входит и биосфера. Пока что ничего нового. Термин «биосфера» как понятие, обозначающее совокупность деятельности живых организмов, был введен в оборот еще в позапрошлом веке австрийским геологом Эдуардом Зюссом. Гипотезу, что биосфера может воздействовать на

процессы, происходящие на планете (например, как мы теперь знаем, на потепление климата) предложил в 1926 году академик Владимир Вернадский.

Новое начинается с момента, когда Гумилев связал два этих ряда никак не связанных между собою явлений – геохимический с цивилизационным, природный с историческим. Это, собственно, и имел он в виду под универсальной марксистской НАУКОЙ. Правда, понадобилось ему для этого одно небольшое, скажем, допущение (недоброжелательный критик назвал бы его передержкой): под пером Гумилева гипотеза Вернадского неожиданно превращается в биохимическую энергию. И с этой метаморфозой невинная биосфера Зюсса вдруг оживает, трансформируясь в гигантский генератор «избыточной биохимической энергии», в некое подобие небесного вулкана, время от времени извергающего на землю потоки невидимой энергетической лавы (которую Гумилев назвал «пассионарностью»).

Именно эти произвольные и не поддающиеся периодизации извержения биосферы и создают, утверждает Гумилев, новые нации («этнотсы») и цивилизации («суперэтнотсы»).



А когда пассионарность их покидает, они остывают – и умирают. Вот вам и разгадка возникновения и исчезновения исторических метеоров. Что происходит с этносами между рождением и смертью? То же, примерно, что и с людьми. Они становятся на ноги («консолидация системы»), впадают в подростковое буйство («фаза энергетического перегрева»), взрослеют и, естественно, стареют («фаза надлома»), потом как бы уходят на пенсию («инерционная фаза») и, наконец, испускают дух («фаза обскурации»). Все это вместе и называется Гумилев этногенезом.

Вот так оно и происходит, живет себе народ тихо и мирно, никого не трогает, а потом вдруг обрушивается на него «взрыв этногенеза», и превращается он из социального коллектива в «явление природы». И с этой минуты «моральные оценки к нему неприменимы, как ко всем явлениям природы». Дальше ничего уже от «этноса» не зависит. На ближайшие 1200–1500 лет (ибо именно столько продолжается этногенез, по триста лет на каждую фазу), он в плену своей пассионарности. Все изменения, которые с ним отныне случаются, могут быть только ВОЗРАСТНЫМИ.

Вот, скажем, происходит в XVI веке в Европе Реформация, рождается буржуазия, начинается Новое время. Почему? Многие пытались это объяснить. Возобладала точка зрения Макса Вебера, связавшего происхождение буржуазии с протестантизмом. Ничего подобного, говорит Гумилев. Это возрастное. Просто в Европе произошел перелом от «фазы надлома» к «инерционной». А что такое инерционная фаза? Упадок, потеря жизненных сил, постепенное умирание: «Картина этого упадка обманчива. Он носит маску благосостояния, которое представляется современникам вечным. Но это лишь утешительный обман, что становится очевидным, как только наступит следующее и на этот раз финальное падение».

Это, как понимает читатель, о европейском «суперэтносе». Через триста лет после вступления в «инерционную фазу» он агонизирует, он – живой мертвец. Другое дело Россия. Она намного моложе Европы (на пять столетий, по подсчетам Гумилева), ей предстоит еще долгая жизнь. Но и она, конечно, тоже в плену своего возраста. Этим и объясняется то, что с ней

происходит. Другие ломают голову над происхождением, скажем, перестройки. Для Гумилева никакого секрета здесь нет, возрастное: «Мы находимся в конце фазы надлома (если хотите, в климаксе)».

Несерьезной представляется Гумилеву и попытка Арнольда Тойнби предложить в его двенадцатитомной «Науке истории» некие общеисторические причины исчезновения древних цивилизаций: «Тойнби лишь компрометирует плодотворный научный замысел слабой аргументацией и неудачным его применением». Ну, после того как Гумилев посмеялся над Максом Вебером, насмешки над Тойнби не должны удивлять читателя.

Правда, каждый из этих гигантов оставил после себя, в отличие от Гумилева, мощную научную школу. И не поздоровилось бы Гумилеву, попадись он на зубок кому-нибудь из их учеников. Но в том-то и дело, что даже не подозревали они – и до сих пор не подозревают – о его существовании. Просто не ведают мир, что Гумилев уже создал универсальную марксистскую Науку, позволяющую не только объяснять прошлое, но и предсказывать будущее, что «феномен, который я открыл, может решить проблемы этногенеза и этнической истории». В том ведь и состояла драма его поколения.

«Круговое объяснение» истории

Смысл гипотезы Гумилева заключается, как видим, в объяснении исторических явлений природными: извержениями биосферы. Но откуда узнаем мы об этих природных возмущениях? Оказывается, из истории: «Этногенезы на всех фазах – удел естествознания, но изучение их возможно только путем познания истории». Другими словами, мы ровно ничего о деятельности биосферы по производству этносов не знаем, кроме того что она, по мнению Гумилева, их производит. Появился на земле новый этнос, значит, произошло извержение биосферы.

Откуда, однако, узнаем мы, что на земле появился новый этнос? Оказывается, из «пассионарного взрыва». Иначе говоря, из извержения биосферы? Выходит, объясняя природные

явления историческими, мы в то же время объясняем исторические явления природными? Это экзотическое *круговое объяснение*, смешивающее предмет точных наук с предметом наук гуманитарных, требует от автора удвоенной скрупулезности. По меньшей мере, он должен объяснить читателю, что такое **НОВЫЙ** этнос, что именно делает его новым и на основании какого объективного критерия можем мы определить его новизну. Парадокс гипотезы Гумилева в том, что никакого критерия, кроме «патриотического», в ней просто нет.

Понятно, что доказать гипотезу, опираясь на такой специфический критерий, непросто. И для того чтобы объяснить возникновение единственно интересующего его «суперэтнуса», великорусского, Гумилеву пришлось буквально перевернуть вверх дном, переименовать всю известную нам со школьных лет историю. Начал он издалека, с крестовых походов европейского рыцарства. Общепринятое представление о них такое: в конце XI века рыцари двинулись освобождать Святую землю от захвативших ее «неверных». Предприятие, однако, затянулось на два столетия. Сначала рыцарям удалось отнять у сельджуков Иерусалим и даже основать там христианское государство, откуда их, впрочем, прогнали арабы. Потом острие походов переключилось почему-то на Византию. Рыцари захватили Константинополь и образовали недолговечную Латинскую империю. Потом прогнали их и оттуда. Словом, запутанная и довольно нелепая история. Но при чем здесь, спрашивается, великорусский «суперэтнос»?

Притом, объясняет Гумилев, что, вопреки всем известным фактам, Святая земля, Иерусалим и Константинополь были всего лишь побочной ветвью «европейского империализма», почти что, можно сказать, для отвода глаз. Ибо главным направлением экспансии была колонизация Руси. Почему именно Руси – секрет «патриотической» истории. Тем более что на территории собственно Руси крестоносцы не появлялись. Приходится предположить, что под «Русью» на самом деле имелась в виду Прибалтика с ее первоклассными крепостями и торговыми центрами Ригой и Ревелем (ныне Таллинн), к которым и впрямь потянулся под предлогом обращения язычников в христианство ручеек ответившихся от основной массы

крестоносцев. Там, вокруг этих крепостей, и обосновался не-большой орден меченосцев.

Воинственным язычникам-литовцам соседство, однако, не понравилось, и в 1236 году в битве при Шауляе они наголову разгромили меченосцев, а заодно и примкнувших к ним православных псковичей. Ганзейский союз немецких городов, не желая отдавать добро язычникам, пригласил в качестве гарнизона крепостей несколько сот «тевтонов» из Германии. Понятно, что читателю в России, никогда не слышавшему о Шауляйском побоище (его не было даже в советских энциклопедиях) и воспитанному на фильме «Александр Невский» (где рядовая стычка новгородцев с этими самыми тевтонами, в которой обе стороны отделались малой кровью, как раз и изображена как «побоище»), трудно представить себе, что воевали тогда в Прибалтике вовсе не русские с немцами, а тевтоны с литовцами. Конечно, в свободное от войны время тевтоны, как, кстати, и литовцы, были непрочь пограбить богатые новгородские земли. Но этим, собственно, их отношения с Русью и ограничивались.

Тут-то и начинается гумилевская «патриотическая» фантазмагория. Вот ее суть: «Когда Европа стала рассматривать Русь как объект колонизации... рыцарям и негоциантам помешали монголы». Такой вот невероятный поворот. Орда, огнем и мечом покорившая Русь, превратившая страну в пустыню и продавшая в иноземное рабство цвет русской молодежи, оказалась вдруг под пером Гумилева ангелом-хранителем самостоятельности Руси от злодейской Европы. Так он и пишет: «Защита самостоятельности – государственной, идеологической, бытовой и даже творческой – означала войну с агрессией Запада».

Странно, согласитесь, слышать о государственной и прочей «самостоятельности» в ситуации, когда Русь уже была колонией Орды. Непонятно также, о какой «агрессии Запада» речь, поскольку тевтоны могли угрожать разве что Пскову, да и то едва ли, имея в виду, что Псков как раз тяготел к союзу с ними. Но Гумилев уверен в спасительной роли монголов. В самом деле, когда б не они: «Русь совершенно реально могла превратиться в колонию Западной Европы... Наши предки могли оказаться в положении угнетенной этнической массы... Вполне могли. Один шаг оставался».

Мрачная картина, нечего сказать. Но вполне фантастическая. Несколько сот рыцарей, с трудом отбивавшихся от литовцев, угрожали превратить в колонию громадную Русь? И превратили бы, уверяет тем не менее Гумилев, не проявись тут «страстный до жертвенности гений Александра Невского. За помощь, оказанную хану Батью, он потребовал и получил монгольскую помощь против немцев и германофилов. Католическая агрессия захлебнулась» (нам, правда, так и не сказали, когда и каким образом эта агрессия возникла. Не сказали также, за какие такие услуги согласился Батый оказать князю Александру помощь в ее отражении).

Так или иначе, читателю Гумилева должно быть ясно главное: никакого монгольского ига и в помине не было. Был взаимный обмен услугами, в результате которого Русь «добровольно объединилась с Ордой благодаря усилиям Александра Невского, ставшего приемным сыном Батыея». Из этого добровольного объединения и возник «этнический симбиоз», ставший новым суперэтносом: «смесь славян, угро-финнов, аланов и тюрков слилась в великорусской национальности».

«Контроверза» Гумилева

Ну, хорошо, переиначили мы на «патриотический» лад историю: перенаправили крестовые походы из Палестины и Византии на Русь, перекрестили монгольское иго в «добровольное объединение», слили славян с тюрками, образовав новую «национальность», то бишь суперэтнос. Но какое все это, спрашивается, имеет отношение к извержениям биосферы и «пассионарному взрыву», в которых все-таки суть учения Гумилева? А такое, оказывается, что старый распадающийся славянский этнос, хотя и вступивший уже в «фазу обскурации», сопротивлялся тем не менее новому, великорусскому, «обывательский эгоизм был объективным противником Александра Невского и его боевых товарищей».

Но в то же время «сам факт наличия такой контроверзы показывает, что, наряду с процессом распада, появилось новое поколение – героическое, жертвенное, патриотическое». Оно и стало «затравкой нового этноса... Москва перехватила

инициативу объединения русской земли потому, что именно там скопились страстные, энергичные, неукротимые люди».

Значит, что? Значит, именно на Москву изверглась в XIII–XIV веках биосфера и именно в ней произошел «пассионарный взрыв». Никаких иных доказательств нет, да и не может быть. Так подтверждал Гумилев свою гипотезу. Суммируем. Сначала появляются пассионарии, страстные, неукротимые люди, способные жертвовать собой во имя величия своего суперэтноса. Затем некий «страстный гений» спланирует вокруг себя этих опять же «страстных, неукротимых людей и ведет их к победе». Возникает «контроверза», новое борется с обывательским эгоизмом старого этноса. Но, в конце концов, пассионарность побеждает и старый мир сдается на милость победителя. Из его обломков возникает новый.

И это все, что предлагает нам Гумилев в качестве доказательства новизны великорусского этноса? А также извержения биосферы на Русь? Таков единственный результат всех фантастических манипуляций переименования на «патриотический» лад общеизвестной истории? Но ведь это же всего лишь тривиальный набор признаков любого крупного политического изменения, одинаково применимый ко всем революциям и реформациям в мире. Причем во всех других случаях набор этот и не требовал никаких исторических манипуляций. И мы тотчас это увидим, едва проделаем маленький, лабораторный, если угодно, мысленный эксперимент, применив гумилевский набор признаков извержения биосферы, скажем, к Европе XVIII–XIX веков.

Эксперимент

Разве мыслители эпохи Просвещения не отдали все силы делу возрождения и величия Европы (тоже ведь суперэтноса, употребляя гумилевскую терминологию)? Почему бы нам не назвать Руссо и Вольтера, Дидро и Лессинга «пассионариями»? Разве не возникла у них «контроверза» со старым феодальным «этносом»? И разве не свидетельствовала она, что «наряду с процессом распада появилось новое поколение – героическое, жертвенное, патриотическое»? Разве не дошло в 1789 году дело

до великой революции, в ходе которой вышел на историческую сцену Наполеон, кого сам же Гумилев восхищенно описывал как «страстного гения», уж, во всяком случае, не уступающего Александру Невскому? Тем более что не пришлось Наполеону в отличие от благоверного князя оказывать услуги варварскому хану, подавляя восстания своего отчаявшегося под чужеземным игом, виноват, под «добровольным объединением» народа? Разве не сопротивлялся новому поколению «обывательский эгоизм» старых монархий? И разве, наконец, не сдались они на милость победителя?

Все, как видим, один к одному совпадает с гумилевским описанием извержения биосферы и «пассионарного взрыва» (разве что без помощи монголов обошелся европейский «страстный гений»). Так что же мешает нам предположить, что изверглась биосфера в XVIII–XIX веках на Европу? Можем ли мы считать 4 июля 1789 года днем рождения нового европейского суперэтноса (провозгласил же Гумилев 8 сентября 1381-го днем рождения великорусского)? Или будем считать именно этот пассионарный взрыв недействительным из «патриотических» соображений? Не можем же мы, в самом деле, допустить, чтобы «загнивающая» Европа, вступившая, как мы выяснили на десятках страниц, в «фазу обскурации», оказалась на пять столетий моложе России.

Хорошо, забудем на минуту про Европу: слишком болезненная для Гумилева и его «патриотических» поклонников тема (недоброжелатель, чего доброго, скажет, что из неприязни к Европе он, собственно, и придумал свою гипотезу). Но что может помешать какому-нибудь японскому «патриоту» объявить, опираясь на рекомендацию Гумилева, 1868-й годом рождения нового японского «этноса»? Ведь именно в этом году «страстный гений» императора Мейдзи вырвал Японию из многовековой изоляции и отсталости – и уже полвека спустя она разгромила великую европейскую державу Россию и еще через полвека бросила вызов великой заокеанской державе Америке. На каком основании сможем мы, спрашивается, отказать «патриотически» настроенному японцу, начитавшемуся Гумилева, в чудесном извержении биосферы в XIX веке именно на его страну?

Но ведь это означало бы катастрофу для гумилевской гипотезы! Он-то небо к земле тянул, не остановился перед самыми невероятными историческими манипуляциями, чтобы доказать, что Россия – САМЫЙ МОЛОДОЙ в мире «этнос». А выходит, что она старше, на столетия старше, не только Европы, но и Японии. Но и это еще не все.

Капризы биосферы

Читателю непременно бросится в глаза странное поведение биосферы после XIV века. По какой, спрашивается, причине прекратила она вдруг свою «пассионарную» деятельность тотчас после того, как подарила второе рождение «великорусской национальности»? Конечно, биосфера непредсказуема. Но все-таки даже из таблицы, составленной для читателей самим Гумилевым, видно, что не было еще в истории случая столь непростительного ее простоя – ни единого извержения за шесть столетий! У читателя здесь выбор невелик. Либо что-то серьезно забарахлило в биосфере, либо Гумилев ее заблокировал из «патриотических» соображений. Потому что, кто ее знает, а вдруг извергнется она в самом неподходящем месте. На Америку, скажем. Или на Африку, которую она вообще по непонятной причине все 22 века игнорировала.

Говоря серьезно, трудно привести пример, где бы и вправду сработала гумилевская теория этногенеза. Ну, начнем с того, что арабский халифат просуществовал всего два столетия (с VII по IX век), даже близко не подойдя к обязательным для этногенеза пяти «фазам», по триста лет каждая. То же самое и с Золотой ордой – с XIII по XV век. Гунны так и вовсе перескочили прямо из «фазы энергетического перегрева» в «фазу обскурации» – и столетия не прошло. А то, что произошло с Китаем, вообще с точки зрения гумилевской гипотезы необъяснимо: умер ведь в XIX веке, вступил в «фазу обскурации» – и вдруг воскрес. Да как еще воскрес! Не иначе как биосфера – по секрету от Гумилева – подарила ему вторую жизнь, хотя его гипотеза ничего подобного не предусматривает.

Так что же в итоге? Чему следовало «пьянить всю страну» в 1992-м? Что должно было оставить после себя (но не оставило)

«единственно серьезную историческую школу»? Смесь гигантомании, наукообразной терминологии и «патриотического» волюнтаризма? Увы, не прошли Гумилеву даром ни его «просвещенный национализм», ни роковое советское раздвоение. В этом смысле он просто еще одна жертва советской изоляции от мира.

Приложение 2

• ЗАЧЕМ РОССИИ ЕВРОПА? •

Не знаю как вас, но меня этот вопрос заинтриговал давно, десятилетия назад, когда впервые попались мне на глаза размышления Петра Яковлевича Чаадаева о том, как относилось к Европе его поколение. Врезался мне тогда в память абзац:

«Мы относились к Европе вежливо, даже почтительно, так как мы знали, что она научила нас многому и между прочим нашей собственной истории... Особенно же мы не думали, что Европа снова готова впасть в варварство и что мы призваны спасти цивилизацию посредством крупниц той самой цивилизации, которые недавно вывели нас из нашего векового оцепенения».

Читателю будет легче понять, почему до глубины души поразили эти строки студента, вполне лояльного советскому толкованию русской истории, если я напомню, что читал их в разгар погромной сталинской кампании против «преклонения перед иностранщиной». Немыслимой ересью, громом с небес звучал тогда этот невинный абзац. «Вековое оцепенение», из которого вывела великую Россию эта задрипанная буржуазная Европа? «Спасительные крупницы» европейской цивилизации? Не знаю, как передать переполох, который вызвало это в моем сознании. Скажу лишь: кончилось дело тем, что посвятил я вопросу, вынесенному в заголовок этого



Опрична...



...Гаагский суд

эссе, жизнь. И написал о нем много книг, переведенных на многие языки. И благодарен судьбе за то, что позволила мне своими глазами увидеть итоговую мою трилогию «Россия и Европа. 1462–1921».

Теперь я знаю, конечно, что был не первым и даже не сто первым, кого этот вопрос так сильно задел за живое. Впервые привлек он внимание интеллектуалов России еще во времена Чаадаева, когда перед ее правительством встала жестокая проблема: как после декабристского мятежа оправдать в глазах страны сохранение самовластья и крестьянского рабства? Вот тогда и осознали сочувствовавшие правительству «патриотически настроенные» интеллектуалы, что оправдать все это можно лишь одним способом: обратившись к забытому со времен Петра могущественному ресурсу, к русскому национализму. Иначе говоря, создав государственную идеологию, девизом которой стало «Россия не Европа».

Европе, – объяснили они, – нужны свободное крестьянство, просвещение, конституции, паровой флот, философия и прочая дребедень, а нам все это ни к чему, у нас свой особый – и главное, успешный – путь в человечестве. И мы *доказали* преимущества своего пути. Очень даже просто: Европу со всей ее «цивилизацией» Наполеон поставил на колени, а мы его победили! И обошлись при этом без всех ее либеральных прибамбасов. Факт? Факт. Попробуйте оспорить.

Оспорить, конечно, не представляло труда. На европейских полях сражений Наполеон бил русские армии точно так же, как и все прочие. Достаточно вспомнить Аустерлиц. Единственным преимуществом России перед всеми прочими была всего лишь уникальная протяженность ее тыла, география, благодаря которой она и прогнала его, когда он вторгся на ее территорию. И на колени поставила Наполеона не Россия, а европейская коалиция. И героем Ватерлоо был английский генерал Веллингтон. Но что из этого? Логика, как узнал на своем опыте Чаадаев, оказалась бессильной перед «патриотической» демагогией. Опровергнуть ее могла только жизнь.

И жизнь в этом случае не замедлила это сделать. Капитуляция в Крымской войне и «позорный мир» 1856 года заставили свернуть на несколько десятилетий «патриотическую»

фанфаронаду. Уже два десятилетия спустя, в ходе Великой реформы 1860-х, отказался Петербург не только от крепостного права, но и, что, пожалуй, важнее, от претензий на особый путь в человечестве. Слишком много понадобилось реформирующейся России европейских прибалтасов, даром что либеральных.

Но то был лишь один – и пока что уникальный – случай, когда отречение от европейской идентичности и обретение ее вновь произошли на глазах одного поколения. На самом деле случались такие отречения в русской истории не раз. Некоторые из них продолжались десятилетиями, порою веками. И неизменно заводили они страну в тупики, выход из которых доставался ей порою катастрофически дорого. Нетривиально здесь, однако, другое: выход этот ВСЕГДА находился – и столь же неизменно вновь обретала Россия свою европейскую идентичность. Увы, лишь для того чтобы снова ее потерять. Но и снова обрести. Право, удивительно, почему никто до сих пор не обратил внимания на этот странный «маятник», так опасно и страшно раскачивающий страну на протяжении столетий.

Разобраться в нем между тем важно, жизненно, если хотите, важно. Хотя бы потому, что при каждом отречении от европейской идентичности несчетно ломались в России судьбы, приходили в отчаяние и бежали из страны люди, а порою сопровождалась эти отречения гекатомбами человеческих жертв – что в XVI веке, что в XX. Как бы то ни было, стал я в этом «маятнике» разбираться.

Требовалось доказать, что Чаадаев был прав: не жилось отрезанной от Европы России, хирела она, впадала в «духовное оцепенение». А также то, что обязательно возвращалась она к своей изначальной, как мы сейчас увидим, европейской идентичности. Но прежде всего следовало доказать то, что может показаться очевидным. А именно, что «маятник» этот (я назвал его **ЦИВИЛИЗАЦИОННОЙ НЕУСТОЙЧИВОСТЬЮ РОССИИ**) действительно существует. Никто мою формулу не опроверг. Но никто с ней и не согласился. И хотя непросто доказать ее в сравнительно коротком эссе, я думаю, что даже краткий обзор исторического путешествия России, который

мы сейчас предпримем, не оставит в этом сомнений. Впрочем, пусть читатель судит сам.

Х – середина XIII века

Протогосударственный конгломерат варяжских княжеств и вичевых городов, известный под именем Киевско-Новгородской Руси, воспринимает себя (и воспринимается в мире) как неотъемлемая часть Европы. Никому не приходит в голову как-то отделить от нее Русь, изобразить ее некой особой, отдельной от Европы страной, как, допустим, Персия или Китай. Да, это была русская земля, но и европейская тоже. Такова была тогдашняя европейская идентичность Руси – на протяжении трех с лишним столетий. Такая же, скажем, как идентичность тогдашней Франции. (Кстати, управляла Францией после смерти мужа-короля в XI веке русская княжна.)

Середина XIII – середина XV века

Русь завоевана, насильственно сбита с европейской орбиты, становится западной окраиной степной евразийской империи. И катастрофически отстает от Европы. «Иго, – признает даже “патриотически настроенный” современный историк (В. В. Ильин), – сдерживая экономическое развитие... подрывая культуру, хозяйство, торпедируя рост городов, ремесел, торговли, породило капитальную для России проблему политического и социально-экономического отставания от Европы». Признает это и другой «патриотически настроенный» историк (А. Г. Кузьмин): «До нашествия Русь была одним из самых развитых в экономическом и культурном отношении государств Европы». Прав Кузьмин или нет, в результате варварского завоевания европейскую свою идентичность Русь утратила. И самостоятельным государством больше не была.

Середина XV – середина XVI века

На волне освободительного движения Русь ВОЗВРАЩАЕТСЯ к своей изначальной, как мы убедились, европейской идентич-

ности. Становится обыкновенной северо-европейской страной (ее южная граница проходит в районе Воронежа, ее культурный и хозяйственный центры – на Севере). Если верить тщательно документированному тезису первой книги моей трилогии, настает новое *Европейское столетие России*. Я знаю, что вы не услышите ничего подобного ни от одного другого историка. Многие пытались это оспорить – и в России, и на Западе. Но никому еще не удалось как-нибудь иначе объяснить неоспоримые факты, на которые я ссылаюсь. Впрочем, судите опять-таки сами.

Крестьянство тогдашней Руси было свободно, защищено тем, что я называю «крестьянской конституцией Ивана III», известной в просторечии как Юрьев день.

Великая реформа 1550-х не только освободила крестьян от произвола «кормленщиков», заменив его выборным местным самоуправлением и судом присяжных, но и привела, по словам одного из самых блестящих историков-шестидесятников А. И. Копанева, раскопавшего старинные провинциальные архивы, к «гигантской концентрации земель в руках богатых крестьян». Принадлежали им, причем как аллодиум, то есть



Иван III Великий



А. Ф. Адашев

как «частная собственность, утратившая все следы феодального держания», не только пашни, огороды, сенокосы, звериные уловы и скотные дворы, но и рыбные и пушные промыслы, ремесленные мастерские и солеварни, порою, как в случае Строгановых или Амосовых, с тысячами вольнонаемных рабочих. Короче, на Руси, как в Швеции, появляется слой крестьян-собственников, более могущественных и богатых, чем помещики, и, в отличие от помещиков, ничем не обязанных государству.

Все это сопровождалось, опять как в Швеции, неожиданно мощным расцветом идейного плюрализма. Четыре поколения нестяжателей боролись против монастырского стяжания – за церковную Реформацию. Государство, хотя и покровительствовало нестяжателям (историк русской церкви А. В. Карташев назвал это «странным либерализмом Москвы»), но в ход идейной борьбы не вмешивалось. Лидер стяжателей-иосифлян преподобный Иосиф Волоцкий мог публично проклинать государя как «неправедного властителя, дьявола и тирана», но ни один волос не упал с головы опального монаха.

Короче, была тогда Русь обычной для тогдашней Европы «абсолютной монархией с аристократическим правительственным персоналом». Это формула В. О. Ключевского, основанная, как и выводы Копанева, на тщательном исследовании архивных материалов. Ни намек на ордынское самовластье: «Не было политического законодательства, которое определяло бы границы верховной власти, но был правительственный класс с аристократической организацией, которую признавала сама власть». Как часть Великой реформы 1550-х был созван Земский собор, то есть некое подобие народного представительства, и появился новый Судебник, последняя 98-я статья которого юридически ограничивала власть царя, запрещая ему вводить новые законы без согласия Думы. Вот вам и начало «политического законодательства, определяющего границы верховной власти».

Как бы вы все это объяснили? Выглядела в это столетие Русь как наследница евразийской Орды? Как азиатские деспотии, те же Персия и Китай? Все-таки два столетия провела страна в азиатском плену, восемь изнасилованных, поруганных поколений. Пострашнее семидесяти советских лет. И уж тем более

путинского десятилетия. И тем не менее вернулась к своей европейской идентичности? Согласен, не верится. Но ведь факт, вернулась. Судите хотя бы по тому, что стержнем всей экономической жизни страны стала, как повсюду в Европе, БОРЬБА ЗА ЗЕМЛЮ, невысказанная ни в какой азиатской деспотии, где единственным и неоспоримым собственником земли было государство.

Короче, не без темных, как мы еще увидим, ордынских пятен, но вернулась Русь к своей европейской идентичности, бесспорным свидетельством чему было наличие крестьянской частной собственности, не говоря уже о боярской или монастырской. Я не знаю, существует ли что-то вроде пока еще не открытого культурного «генома». Знаю лишь, что если он и впрямь существует, то, судя по всей этой истории, он на Руси несомненно европейский. Впрочем, мое дело рассказать, судить – ваше.

Добавлю лишь, что в это Европейское свое столетие Русь процветала, стремительно наверстывая время, потерянное в монгольском рабстве. Ричард Ченслер, первый англичанин, посетивший Москву в 1553 году, нашел, что она была «в целом больше, чем Лондон с предместьями», а размах внутренней торговли поразил, как ни странно, даже англичанина. Вся территория, по которой он проехал, «изобилует маленькими деревушками, которые так полны народа, что удивительно смотреть на них. Земля вся хорошо засеяна хлебом, который жители везут в Москву в громадном количестве. Каждое утро вы можете встретить от 700 до 800 саней, едущих туда с хлебом... Иные везут хлеб в Москву, другие везут его оттуда, и среди них есть такие, что живут не меньше чем за 1000 миль». Современный немецкий историк В. Кирхнер заключил, что после завоевания Нарвы в 1558 году Русь стала главным центром балтийской торговли и одним из центров торговли мировой. Несколько сот судов грузились там ежегодно – из Гамбурга, Стокгольма, Копенгагена, Антверпена или Лондона.

Понятно, что я не могу в нескольких абзацах изложить и десятую долю всех фактов, собранных на сотнях страниц. Но и та малость, что изложена, тоже требует, согласитесь, объяснения. В особенности, если сравнить то, что описал для нас в 1553 году Ченслер, с тем, что увидел всего лишь четверть века спустя его

соотечественник Флетчер. В двух словах, увидел он пустыню. И размеры ее поражали воображение.

По писцовым книгам 1578 года, в станах Московского уезда числилось 96 % пустых земель. В Переяславль-Залесском уезде их было 70 %, в Можайском – 86. Углич, Дмитров, Новгород стояли обугленные и пустые, в Можайске было 89 % пустых домов, в Коломне – 94. Живущая пашня Новгородской земли, составлявшая в начале века 92 %, в 1580-е составляла не больше десяти. Буквально на глазах одного поколения богатая процветающая Русь, один из центров мировой торговли, как слышали мы от Кирхнера, превратилась вдруг, по словам С. М. Соловьева, в «бедную, слабую, почти неизвестную» Московию, прозябающую на задворках Европы. С ней случилось что-то ужасное, сопоставимое, по мнению Н. М. Карамзина, с монгольским погромом Руси в XIII веке. Что?

Мое объяснение: за эти четверть века Русь *отреклась от своей европейской идентичности*. Но это требует отдельного разговора.

Интермеццо

Первое, что бросается в глаза: беда пришла на пике Великой реформы, после созыва Земского собора и принятия знаменитого Судебника, когда возвращение страны в Европу на глазах становилось *необратимым*. Для кого-то, для каких-то могущественных политических сил, это было смерти подобно, равносильно потере влияния и разорению. Таких сил было тогда на Руси две. Во-первых, церковь, во-вторых, военные, офицерский корпус, помещики. Церковь смертельно боялась европейской Реформации, помещикам, получавшим землю условно, на время службы в армии, угрожала европейская военная реформа. Иосифлянам жизненно важно было сохранить свои гигантские земельные владения, дарованные им Ордой, помещикам – сохранить старую, построенную еще по монгольскому образцу конную армию. Все это требует, конечно, подробного объяснения. В трилогии оно есть, здесь для него нет места. Кратко может и не получиться. Но попробую.

На протяжении десятилетий церковь была фаворитом завоевателей. Орда сделала ее крупнейшим в стране землевладельцем и ростовщиком. Монастыри прибрали к рукам больше трети всех пахотных земель в стране. По подсчетам историка церкви митрополита Макария за двести лет ига было основано 180 новых монастырей, построенных, по словам Б. Д. Грекова, «на боярских костях». Ханские «ярлыки», имевшие силу закона, были неслыханно щедры. От церкви, гласил один из них, «не надобе им дань, и тамга, и поплужное, ни ям, ни подводы, ни война, ни корм, во всех пошлинах не надобе, ни которая царева пошлина». И от всех, кому покровительствовала церковь, ничего не надобе было Орде тоже: «а что церковные люди, мастера, сокольницы или которые слуги и работницы и кто будет из людей тех да не замают ни на что, ни на работу, ни на сторожу». Даже суд у церкви был собственный, митрополичий. Короче, полностью была она освобождена от всех тягот иноземного завоевания.

Поистине посреди повергнутой, разграбленной и униженной страны стояла та церковь как заповедный нетронутый остров, как твердыня благополучия. Конечно, когда



Крестный ход. Художник И. Е. Репин

освободительное движение стало неодолимым, церковь повернула фронт – благородно, как думают ее историки, и неблагодарно, по мнению Орды. Но вы не думаете, я надеюсь, что после освобождения Руси церковь поспешила расстаться с богатствами и привилегиями, дарованными ей погаными? Что вернула она награбленное – у крестьян, у бояр? Правильно не думаете. Потому что и столетие спустя продолжали ее иерархи ссылаться на ханские «ярлыки» как на единственное законное основание своих приобретений.

На дворе между тем был уже XVI век. Вовсю бушевала в северной Европе Реформация. И датская, и шведская, и голландская, и норвежская, и английская, и даже исландская церкви одна за другой лишались своих вековых владений, превращаясь из богатейших землевладельцев в достойных, но бедных духовных пастырей нации. А тут еще и на Руси завелись эти «агенты влияния» европейской Реформации, нестяжатели, выводили монастырских стяжателей на чистую воду, всенародно их позорили. И к чему это приводило? Послушаем самого преподобного Иосифа: «С того времени, когда солнце православия воссияло в земле нашей, у нас никогда не бывало такой ереси. В домах, на дорогах, на рынке все – иноки и миряне – с сомнением рассуждают о вере, основываясь не на учении пророков и святых отцов, а на словах еретиков, с ними дружатся, учатся у них жидовству». Ну, надо же, прямо Москва конца 1980-х. Подумать только – «в домах, на дорогах, на рынке». И не о ценах на хлеб рассуждают, о вере. С сомнением.

Именно тогда, в 1560-е, перед лицом необратимости европейского преобразования, впервые создалась смертельно опасная для ордынских приобретений церкви ситуация. Понятно, конечно, что никакими не были иосифляне духовными пастырями. И не собирались быть. Они были менеджерами, бизнесменами, дельцами, ворочавшими громадными капиталами. И теперь, когда эти капиталы оказались под угрозой, требовалось придумать хитроумный ход, который одним ударом приравнял бы нестяжателей к этим самым еретикам, жидовствующим, дал бы помещикам шанс избежать военной реформы и, главное, напрочь отрезал бы Русь от еретической Европы с ее

безбожной Реформацией. И придумали. Называлось это иосифлянское изобретение «сакральным самодержавием».

Еще раньше, едва появившись на престоле подходящий, внушаемый и тщеславный юный государь, венчали его на всякий случай царем, имея в виду поссорить его с Европой, которая едва ли согласилась бы признать московского великого князя цезарем. А теперь можно было натравить его и на бояр, внушив ему, что они со своим Судебником покушаются на его «сакральную», то есть практически божественную власть. Придумали красиво. Только рисков не рассчитали.

Вторая половина XVI века

Внушив человеку (как сейчас сказали бы, «безбашенному») веру в его сакральную власть, иосифляне создали монстра. Вопреки правительству страны, Иван IV ввязался в ненужную войну с Европой, открыв тем самым южную границу крымским разбойникам, которые сожгли Москву и увели в полон, по подсчетам М. Н. Покровского, 800 тысяч человек, с чего и началось ее запустение. Затем, терпя поражения на западном фронте, разогнал строптивое правительство, создал свое, отдельное от страны разбойничье сакральное царство под именем «опричнины» (от слова «опричь») и с его помощью устроил на Руси, не щадя и церковь, грандиозный погром, дотла разорив страну. Хуже того, отменил Юрьев день, положив начало тотальному закрепощению крестьян и оставив после себя не только пустыню, которая ужаснула Флетчера, но и Смуту, как тот и предсказал. Вот его предсказание: «Тирания царя так взволновала страну, так наполнила ее чувством смертельной ненависти, что она не успокоится, пока не вспыхнет пламенем гражданской войны». Вспыхнула.

Сам факт, что без гражданской войны сломать традиционное европейское устройство страны, установив в ней самодержавие и крепостное право, оказалось невозможным, разве не лучшее свидетельство укорененности этого устройства? Я понимаю, что, не случись в России столетия спустя аналогичная чудовищная метаморфоза и не превратись в одночасье европейская страна в монстра под названием СССР, трудно было

бы поверить, что такое вообще возможно. Но не приснился же нам СССР? Знаем, что не приснился, – и все-таки не верим в самодержавную революцию Ивана Грозного? Несмотря даже на то, что в XX веке понадобились для этой метаморфозы и гражданская война, и тотальный террор, и крепостное право? Все, одним словом, как в XVI? Не знаю, как для читателя, но для меня эта аналогия звучит как непреложное свидетельство, что самодержавная революция и впрямь на Руси случилась. Я сам жил в сакральном царстве Грозного. Я говорю о сталинской Москве. Но мы отвлеклись.

В XVI веке главным было то, что церковь еще на столетие сохранила свои ордынские богатства и привилегии, но Русь была опять сбита с европейской орбиты, опять лишена европейской идентичности. Только на этот раз не завоевателями, а собственной церковью и самодержавной революцией Ивана Грозного. И смертью Грозного так же, как кончиной Сталина, дело не закончилось.

Конец XVI – XVII век

Поначалу была, конечно, «оттепель», деиванизация, если можно так выразиться. Террор прекратился. Но до возвращения европейской идентичности дело не дошло. До восстановления Юрьева дня не дошло тоже. Напротив, крепостное право усугубилось. И «оттепель» сменилась предсказанной Флетчером гражданской войной, Смутой. А она, в свою очередь, – затянувшимся гниением страны. Повторяется история ига: хозяйственный упадок, «торпедирруется» рост городов, ремесел, торговли. Крестьянство «умерло в законе». Утверждается военно-имперская государственность. На столетие Русь застревает в историческом тупике Московии, превращаясь в угрюмую, фундаменталистскую, перманентно стагнирующую страну, навсегда, казалось, культурно отставшую от Европы. Довольно сказать, что оракулом Московии в космографии был Кузьма Индикоплов, египетский монах VI века, полагавший землю четырехугольной. Это в эпоху Ньютона – после Коперника, Кеплера и Галилея. Добавьте к этому, что, по словам того же Ключевского, Московия «считала себя единственной истинно правоверной в мире, свое пони-

мание Божества исключительно правильным. Творца вселенной представляла своим собственным русским Богом, никому более не принадлежащим и неведомым». Происходило то, что всегда происходит на Руси, отрезанной от Европы. Страна дичала.

Ничего, кроме глухой ненависти к опасной Европе и «русского Бога», новая власть предложить не могла. Время политических мечтаний, конституционных реформ, ярких лидеров миновало (ведь даже в разгар Смуты были еще и Михаил Салтыков, и Прокопий Ляпунов). Драма закончилась, погасли софиты, и все вдруг увидели, что на дворе беззвездная ночь. К власти пришли люди посредственные, пустячные, хвастливые. Точнее всех описал их, конечно, Ключевский: «Московское правительство первых трех царствований новой династии производит впечатление людей, случайно попавших во власть



Петр I

и взявшихся не за свое дело... Все это были люди с очень возбужденным честолюбием, но без оправдывающих его талантов, даже без правительственных навыков, заменяющих таланты, и – что еще хуже – совсем лишенные гражданского чувства».

Судить читателю, как после всего этого выглядит самозабвенный гимн Московии нашего современника М. В. Назарова в толстой книге («Тайна России». – М., 1999). По его словам, Московия «соединяла в себе как духовно-церковную преемственность от Иерусалима, так и имперскую преемственность в роли Третьего Рима, и эта двойная преемственность сделала Москву историософской столицей

мира». Сопоставьте это с наблюдением одного из лучших американских историков Альфреда Рибера: «Теоретики международных отношений, даже утопические мыслители никогда не рассматривали Московию как часть Великой Христианской Республики, составлявшей тогда сообщество цивилизованных народов». Кому, впрочем, интересны были бы «тайны» Назарова, когда бы не поддержала его Н. А. Нарочницкая, представляющая сегодня РФ в Европе? Она тоже, оказывается, считает, что именно в московитские времена «Русь проделала колоссальный путь всестороннего развития, не создавая противоречия содержания и формы». Это о стране, утратившей, по словам Ключевского, не только «средства к самоисправлению, но само даже побуждение к нему».

Куда, впрочем, интереснее вопрос, были ли в то гиблое время на Руси живые, мыслящие, нормальные европейские люди? Конечно, были. Даже диссиденты были. Я и сам о некоторых из них писал. Без слов понятно, что участь их была печальной. Даже у самых благополучных. Вот, казалось бы, счастливчик, единственный, пожалуй, талантливый русский дипломат того столетия Афанасий Ордин-Нащокин, так и у него сын за границу сбежал! Его, правда, благодаря связям отца, удалось отыскать и вернуть, но непривилегированная молодежь «валила» из своего правоверного отечества при всяком удобном случае навсегда. Из восемнадцати молодых людей, отправленных Борисом Годуновым для учебы за границу,



М. М. Сперанский

семнадцать стали невозвращенцами. Один из способов побега описал С. М. Соловьев, раскопавший записи московитского генерала Ивана Голицына: «Русским людям служить вместе с королевскими людьми нельзя ради их прелести. Одно лето побывают с ними на службе, и у нас на другое лето не останется и половины лучших русских людей... а бедных людей не останется ни один человек».

Но в большинстве жили эти «лучшие русские люди» с паршивым чувством, которое впоследствии точно сформулирует Пушкин: дернула же меня нелегкая с умом и талантом родиться в России! И с еще более ужасным ощущением, что так в этой стране будет всегда – и та же участь ожидает детей их и внуков.

Они ошибались.

Забыли про так и не объясненный европейский культурный «геном», который однажды уже превратил захолустную колонию Орды в процветающее европейское государство. Давно это было, а может, казалось им, и неправда. Но... явился опять этот «геном» в конце XVII века, на сей раз в образе двухметрового парня, ухитрившегося повернуть коварное изобретение иосифлян против его изобретателей.

Начало XVIII – начало XIX века

«Сакральной» самодержавной рукой Петр уничтожает иосифлянский фундаментализм и снова поворачивает страну лицом к Европе, *возвращая ей первоначальную идентичность*. Хотя Екатерина II и утверждала в своем знаменитом Наказе Комиссии по Уложению, что «Петр Великий, вводя нравы и обычаи европейские в европейском народе, нашел тогда такие удобства, каких он и сам не ожидал», на самом деле цена выхода из московитского тупика оказалась непомерной (куда страшнее, скажем, забегая вперед, чем выход из советского в конце XX века). Полицейское государство, террор, крепостничество превращается в рабство, страна разорвана пополам. Ее рабовладельческая элита шагнула в Европу, оставив подавляющую массу населения, крестьянство, прозябать в иосифлянкой Московии. В этих условиях Россия могла, вопреки Екатерине, стать поначалу не более (в этом славнофилы были правы), чем полу-Европой.

При всем том, однако, европейская идентичность делала свое дело и, как заметил один из самых замечательных эмигрантских писателей Владимир Вейдле, «дело Петра переросло его замыслы и переделанная им Россия зажила жизнью гораздо более богатой и сложной, чем та, которую он так свирепо ей навязывал... Он воспитывал мастеровых, а воспитал Державина и Пушкина». Прав, без сомнения, был и сам Пушкин, что «новое поколение, воспитанное под влиянием европейским, час от часу привыкало к выгодам просвещения». Очень скоро, однако, выясняется и правота Герцена, что в «XIX столетии самодержавие и цивилизация не могли больше идти рядом». Другими словами, чтобы довести дело Петра до ума, требовалось избавить Россию не только от крестьянского рабства, но и от самодержавия.

Первая четверть XIX века

На «вызов Петра» Россия ответила не только колоссальным явлением Пушкина, по знаменитому выражению Герцена, но и европейским поколением декабристов, вознамерившихся ВОССОЕДИНИТЬ разорванную Петром надвое страну. Другими словами, не *переряжалась* теперь уже российская элита в европейское платье, она *переродилась*. И вместо петровского «окна в Европу», попыталась сломать стену между нею и Россией, предотвратив тем самым реставрацию Московии. Но дело было не только в декабристах. Сама власть эволюционировала в сторону конституции. Вот некоторые подтверждающие это факты.

Американский историк (между прочим, Киссинджер) так описывал проект, представленный в 1805 году последним из «екатерининских», так сказать, самодержцев английскому премьеру Питту: «Старой Европы больше нет, время создавать новую. Ничего, кроме искоренения последних остатков феодализма и введения во всех странах либеральных конституций, не сможет восстановить стабильность». Осторожный Питт отверг этот проект. Но и десятилетие спустя остался Александр Павлович верен своей идее, когда отказался вывести свои войска из Парижа прежде, чем Сенат Франции

примет конституцию, ограничивающую власть Бурбонов. Ирония здесь, конечно, в том, что Франция была обязана своей либеральной конституцией русскому царю. Но этим дело не ограничилось.

По словам академика А. Е. Преснякова, «в годы Александра I могло казаться, что процесс европеизации России доходит до своих крайних пределов. Разработка проектов политического преобразования империи подготавливала переход русского государственного строя к европейским формам государственности; эпоха конгрессов вводила Россию органической частью в «европейский концерт» международных связей, а ее внешнюю политику – в рамки общеевропейской политической системы; конституционное Царство Польское становилось образцом общего переустройства империи». Волей-неволей приходится признать, что «вызов Петра» был с самого начала чреват европейской конституцией – и возникновением декабристов.

Вторая четверть XIX века

То, что случилось после этого, спорно. Целый том посвятил я одной этой четверти века. И все равно не уверен, что убедил коллег в главном. В том, что после смерти в 1825 году Александра Павловича Россия стояла на пороге революционного переворота – **НЕЗАВИСИМО ОТ ТОГО, ЧЕМ КОНЧИЛОСЬ БЫ ДЕЛО НА СЕНАТСКОЙ ПЛОЩАДИ**. Поскольку не удалось декабристам довести до ума дело Петра, совершилась другая революция – антипетровская, московитская (насколько, конечно, возможна была реставрация Московии в XIX веке – после Петра, Екатерины и Александра).

Я не уверен, что многие согласятся с этой точкой зрения, очень уж непривычная, почти столь же, сколько мысль о европейском столетии после ига. Впрочем, еще Герцен знал, как трудно понять смысл именно этой четверти века. «Те 25 лет, которые протекли за 14-м декабря, – писал он в 1850-м, – труднее поддаются характеристике, чем вся эпоха, следовавшая за Петром».

Нельзя, однако, отрицать, что мысли, подобные моей, приходили в голову современникам. Вот лишь два примера.

«Видно по всему, что дело Петра Великого имеет и теперь врагов не меньше, чем во времена раскольниковых и стрелецких бунтов, – писал (в дневнике) академик и цензор А. В. Никитенко. – Только прежде они не смели выползти из своих темных нор. Теперь же все подземные болотные гады выползли из своих нор, услышав, что просвещение застывает, цепенеет, разлагается». И недоумевал знаменитый историк С. М. Соловьев: «Начиная от Петра и до Николая просвещение всегда было целью правительства... По воцарении Николая просвещение перестало быть заслугой, стало преступлением в глазах правительства». Оба, как видим, отсылают нас к временам допетровским, к Московии: когда же еще было на Руси просвещение преступлением в глазах правительства, если не во времена Кузьмы Индикоплова?

Тем более убедительной выглядит эта отсылка, что причины столь странного повторения истории были те же, что и в XVI веке: европейское преобразование России *опять вплотную подошло к точке невозврата*. И опять угрожало это каким-то очень влиятельным силам потерей статуса и разорением. И опять нашли эти силы, подобно иосифлянам два столетия назад, безошибочный способ избавиться от этого европейского наваждения. Силы, конечно, были другие и способ другой: история все-таки движется. Но смысл их контратаки остался прежним.

И это наводит нас на еще более странную мысль: а что если в основе цивилизационной неустойчивости России не один, а два равновесных, так сказать, «генома», если, другими словами, ее политическая культура принципиально ДВОЙСТВЕННА? Европейский «геном» мы уже довольно подробно наблюдали – и после ига, и после Московии. И вот мы видим, как повторяется его двойник – патерналистская или, если хотите, евразийская государственность. В том, что она при Николае вернулась, едва ли можно сомневаться. Довольно послушать откровения министра народного просвещения Ширинского-Шихматова о том, чтобы впредь «все науки были основаны не на умствованиях, а на религиозных истинах в связи с богословием». Министр не просто делился с публикой своими размышлениями, он закрыл в университетах кафедры философии,

мотивируя тем, что «польза философии не доказана, а вред от нее возможен».

Спасибо, впрочем, Шихматову, те, кто шептался за его спиной, что он дал просвещению в России шах и мат, не оценили его заслугу: своим вполне московитским компромиссом он отвратил еще большую беду: царь всерьез намеревался упразднить в стране все университеты. Я говорю «всерьез» потому, что именно за робкое возражение против этого и был уволен предшественник Шихматова граф С. С. Уваров. Причем уволен оскорбительным письмом, которое заканчивалось так: «Надобно повиноваться, а рассуждения свои держать при себе». Добавьте к этому хоть жалобу славянофила Ивана Киреевского, что «русская литература раздавлена ценсурой неслыханною, какой не было примера с тех пор, как было изобретено книгопечатание». Или произнесенную с некоторой даже гордостью декларацию самого Николая: «Да, деспотизм еще существует в России, так как он составляет сущность моего правления, но он согласен с гением нации» (на фоне того, с какой страстью опровергали подобные утверждения со времен Екатерины российские публицисты, включая саму императрицу, выглядит, это, согласитесь, чудовишно).

Не знаю, как других, но меня эта батарея фактов убедила, что московитский двойник европейского «генома» действительно торжествовал победу во второй четверти XIX века. Убедила она и Чаадаева. Во всяком случае, он тоже утверждал, что при Николае произошел «настоящий переворот в национальной мысли». В моих терминах это означает, что *Россия опять отрелась от своей европейской идентичности*. Если так, то академический вроде бы вопрос о происхождении этой фундаментальной двойственности русской политической культуры неожиданно становится ЖГУЧЕ АКТУАЛЬНЫМ. Хотя бы потому, что, не преодолев ее, Россия *никогда* не сможет стать нормальным цивилизованным государством. Но оставим это для финала нашего эссе. А пока что рассмотрим, каким образом произошло это отречение при Николае.

Социальной базой второй самодержавной революции была, конечно, масса провинциального дворянства, все эти гоголевские ноздревы и собакевичи, до смерти перепуганные

перспективой потери своего «живого» имущества. Тон задавали, впрочем, императорский двор, исполнявший роль парламента самодержавной государственности, и «патриотически настроенные» интеллектуалы. Мы уже знаем аргумент, которым они оправдывали сохранение крестьянского рабства и самовластья в XIX веке: «Россия не Европа». Но знаем мы и другое. Их доказательство – победа России над Наполеоном, поставившим на колени Европу, – оказалось бессмертным.



Ноздрев

Полтора столетия спустя превратят аналогичную победу – над Гитлером – в оправдание советского отречения от Европы русские националисты во главе с Александром Прохановым. И совсем уже фарсом будет выглядеть это оправдание в «Известиях» неким И. Карауловым – победой российских спортсменов на февральской Олимпиаде 2014-го. Конечно же, сопровождал он свое открытие, подобно николаевским «патриотам 1840-х», глубокомысленным рассуждением о том, почему Россия не Европа: «Для русского человека идея дела важнее идеи свободы. Дайте ему настоящее дело, и он не соблазнится никакой абстрактной свободой, никакой мелочной Европой». Ну, какие тут могут быть комментарии?

Скажу разве, что родоначальники Русской идеи, «патриоты 1840-х», шли куда дальше своих сегодняшних эпигонов. То, что Наполеон сломил дух Европы, ее волю к сопротивлению, и она вследствие этого загнивает, было для них общим местом. Но не может ли быть, предположили самые проникательные из них, что она уже и сгнила?

Во всяком случае, когда профессор МГУ С. П. Шевырев высказал эту мысль, она вызвала в придворных кругах не шок, а восторг. Вот как она звучала: «В наших сношениях с Западом мы имеем дело с человеком, несущим в себе злой, заразительный недуг, окруженным атмосферой опасного дыхания. Мы целуемся с ним, обнимаемся и не замечаем скрытого яда в беспечном общении нашем, не чуем в потехе пира будущего трупа, *которым он уже пахнет*» (курсив мой. – А. Я.). Это из статьи «Взгляд русского на просвещение Европы» в первом номере журнала «Москвитянин». А вот что писал автору из Петербурга его соредактор, другой профессор МГУ М. П. Погодин: «Такой эффект произведен в высшем кругу, что чудо. Все в восхищении и читают наперерыв. Твоя “Европа” сводит с ума».

Само собою, Шевырев подробно обосновал свой приговор Европе. Но, имея в виду, что писал он все-таки в 1841 (!) году, обосновал он его почему-то странно знакомыми сегодня словами, например, «пренебрежением традиционными ценностями», «вседозволенностью» и «воинствующим атеизмом». Выглядело так, словно Россия претендует на роль классной дамы-надзирательницы по части морали и нравственности. Странность эта усиливается, когда читаешь в дневнике Анны



Оборона Севастополя. Художник В. И. Нестеренко

Федоровны Тютчевой, современницы автора, очень хорошо осведомленной фрейлины цесаревны и беспощадного ума барышни, такую характеристику самой России: «Я не могла не задавать себе вопрос, какое будущее ожидает народ, высшие классы которого проникнуты растлением, низшие же классы погрязли в рабстве и систематически поддерживаемом невежестве». Но то были мысли для дневника.

А в реальности всего лишь полтора десятилетия после воцарения Николая священное для Чаадаева и Пушкина и всего александровского поколения слово «свобода» исчезло из лексикона. Оно ассоциировалось с «вседозволенностью» и, конечно, с «гниением». Одним словом, с Европой. Трудно даже представить себе, с каким ужасом осознали свою немислимую ошибку «патриоты» пятнадцать лет спустя, когда эта презренная «свобода» была крепостные русские армии в Крыму и без выстрела шел ко дну Черноморский флот. «Нас бьет не сила, она у нас есть, и не храбрость, нам ее не искать, – восклицал тогда Алексей Хомяков, – нас бьет и решительно бьет мысль и ум». И уныло вторил ему Погодин: «Не одна сила идет против нас, а дух, ум, воля, и какой дух, какой ум, какая воля!». И монотонно, но грозно звучал на военном совете у нового государя 3 января 1856 года доклад главнокомандующего Крымской армией М. Д. Горчакова: «Если бы мы продолжали борьбу, мы лишились бы Финляндии, остзейских губерний, Царства Польского, западных губерний, Кавказа, Грузии, и ограничились бы тем, что некогда называлось великим княжеством московским».

Но до этого должны были пройти десятилетия! Как жились, спросите вы, в эти десятилетия нормальным европейским людям, которых все-таки было тогда уже много в России? Так же примерно, как в Московии. Задыхались, отчаивались. И, конечно, поверили, что крышка захлопнулась, что ужас этот навсегда.

И снова ошиблись. Просто потому, что, едва Николай умер, новая Московия умерла вместе с ним. Знаменательный эпизод, связанный с этим, оставил нам тот же С. М. Соловьев: «Приехавши в церковь [присягать новому императору], я встретил на крыльце Грановского, первое мое слово ему было “умер”. Он

отвечал: «Нет ничего удивительного, что он умер, удивительно, что мы еще живы!». Такова была первая эпитафия царю, попытавшемуся в очередной раз растоптать европейский «ген» России.

Вторая еще страшнее, поскольку принадлежит лояльнейшему из лояльных подданных покойного. Для современного уха она звучит как приговор. Вот какой оставил Россию Николай, по мнению уже известного нам М. П. Погодина: «Невежды славят ее тишину, но это тишина кладбища, гниющего и смердящего физически и нравственно. Рабы славят ее порядок, но такой порядок поведет ее не к счастью, не к славе, а в пропасть».

Третья четверть XIX века

О ней невозможно писать без боли. С одной стороны, это было замечательное время гласности и преобразований, какого не было в России с первой половины XVI века, с давно забытого ее европейского столетия. С другой стороны, овеяно оно трагедией: страна потеряла тогда неповторимый шанс раз и навсегда «присоединиться к человечеству», говоря словами Чаадаева,



С. В. Ковалевская



К. Д. Кавелин

избежав тем самым кошмарного будущего, которое ей предстояло. Но пойдём по порядку.

Робкая оттепель, наступившая после смерти Николая, превращалась помаленьку в неостановимую весну преобразований. «Кто не жил в 1856 году, тот не знает, что такое жизнь, – вспоминал отнюдь не сентиментальный Лев Толстой, – все писали, читали, говорили, и все россияне, как один человек, находились в неотложном восторге». И в первую очередь молодежь. Вот как чувствовала это совсем ещё юная Софья Ковалевская, знаменитый в будущем математик: «Такое счастливое время! Мы все были так глубоко убеждены, что современный строй не может далее существовать, что мы уже видели рассвет новых времен – времен свободы и всеобщего просвещения! И мысль эта была нам так приятна, что невозможно выразить словами». Не дай бог было царю обмануть эти ожидания!

Между тем перед нами вовсе не случай Петра, когда новый царь пришел с намерением разрушить старый режим. Напротив, при жизни отца Александр II был твердокаменным противником отмены крепостного права. Но волна общественных ожиданий оказалась неотразимой. Откуда-то, словно из-под земли, хлынул поток новых идей, новых людей, неожиданных свежих голосов. Похороненная заживо при Николае интеллигенция вдруг воскресла. Даже такой динозавр старого режима, как Погодин, поддался общему одушевлению. До такой степени, что писал нечто для него невероятное: «Назначение [Крымской войны] в европейской истории – возбудить Россию, державшую свои таланты под спудом, к принятию деятельного участия в общем ходе потомства Иафетова на пути к совершенствованию гражданскому и человеческому». Прислушайтесь, ведь говорил теперь Погодин, пусть выпреним «нововизантийским» слогом, то же самое, за что двадцать лет назад Чаадаева объявили сумасшедшим. А именно, что сфабрикованная николаевскими политтехнологами «русская цивилизация» – фантом и пора России возвращаться в ОБЩЕЕ европейское лоно.

И чего, вы думаете, ожидали от него, от этого лона, современники? Умеренный консерватор Константин Кавелин очень

точно описал, каким именно должно оно быть в представлении публики в реформирующейся России. Гарантии от произвола, свобода. «Конституция, – писал Кавелин, – вот что составляет сейчас предмет тайных и явных мечтаний и горячих надежд. Это теперь самая ходячая и любимая мысль высшего сословия». И словно подтверждая мысль Кавелина, убеждал нового царя лидер тогдашних либералов, предводитель тверского дворянства Алексей Унковский: «Крестьянская реформа останется пустым звуком, мертвою бумагою, если освобождение крестьян не будет сопровождаться *коренными преобразованиями всего русского государственного строя* (курсив мой. – А. Я.)... Если правительство не внемлет такому общему желанию, то должно будет ожидать весьма печальных последствий». Нужно было быть глухим, чтобы не понять, о каких последствиях говорил Унковский: молодежь не простит царю обманутых ожиданий. А радикализация молодежи чревата чем угодно, вплоть до революции.

И ведь действительно напоен был, казалось, тогда самый воздух страны ожиданием чуда. Так разве не выглядело бы таким чудом, пригласи молодой царь для совета и согласия, как говорили в старину, «всенародных человек» и подпиши он на заре царствования хотя бы то самое представление, какое подписал он в его конце, роковым утром 1881 года? Подписал и, по свидетельству Дмитрия Милютина, присутствовавшего на церемонии, сказал сыновьям: «Я дал согласие на это представление, хотя и не скрываю от себя, что мы на пути к конституции»?

Трудно даже представить себе, что произошло бы с Россией, скажи это Александр II на четверть века раньше – в ситуации эйфории в стране, а не страха и паники, когда подписал-таки конституционный акт после революции 1905 года Николай II. Во всяком случае, Россия сохранила бы монархию, способную на такой гражданский подвиг. И избежала бы уличного террора. И царевубийства. А значит, и большевизма. И Сталина.

Но чудо не совершилось. Двор стоял против конституции стеной. Как неосторожно проговорился выразитель его идей тюфяк-наследник, будущий Александр III: «Конституция? Они

хотят, чтобы император всероссийский присягал каким-то скотам!». Хорошо же думал о своем народе помазанник Божий. Впрочем, вот вам отзыв о нем ближайшего его сотрудника Сергея Витте: «Ниже среднего ума, ниже средних способностей, ниже среднего образования».

Но не посмел царь-реформатор пойти против своего двора в 1856 году. Решился лишь четверть века спустя, когда насмерть рассорился со всей камарильей из-за своих любовных дел. Обманул, короче говоря, в 1850-е ожидания. Результат был предсказуемым. Во всем оказался прав Унковский. Освобожденное от помещиков крестьянство осталось в рабстве у общин (от которого полвека спустя безуспешно попытался освободить его Столыпин). И независимый суд оказался несовместим с самодержавным порядком. В особенности после того как обманутая молодежь, как и предвидел Унковский, и впрямь радикализировалась. И началась стрельба.

Поистине печальными оказались последствия этого обмана. Рванувшись на волне огромных общественных ожиданий в Европу, остановилась Россия на полдороге. Не вписывалась она в Европу со своим архаическим «сакральным самодержавием» и



В. И. Засулич



В. Н. Фигнер

общинным рабством. Но и обратно к николаевскому патернализму не вернулась, несмотря на все старания Александра III. Словно повисла в воздухе. И даже когда после революции пятого года подписал Николай II то, что следовало подписать полустолетием раньше его деду, и тогда оказалось оно, по словам Макса Вебера, «псевдоконституционным думским самодержавием».

Но это уже о другой эпохе. Нам важно здесь лишь то, что даже режим спецслужб при Александре III не смог убить в русской интеллигенции уверенность в европейском будущем России, обретенную во времена Великой реформы. Наконец-то обрела она веру. Великой литературой, Болдинской осенью русской культуры ответила на это благодарная русская интеллигенция. Отныне – и до конца постниколаевской эры – была в ее глазах Россия лишь «запоздалой Европой». Вот-вот, за ближайшим поворотом чудилась ей новая Великая реформа. Увы, нужно ли говорить, что опять ошибалась бедная русская интеллигенция? Что даже Февральская революция 1917-го, сокрушившая «сакральное самодержавие», привела страну не в Европу, но лишь в еще одну Московию. Не нужна оказалась победившему «мужицкому царству» Европа.

Заключение

Затянулось эссе. Не думаю, что имеет смысл продолжать наш исторический обзор. Тезис о цивилизационной неустойчивости России, похоже, доказан. Мы видели, как в самых непохожих друг на друга исторических обстоятельствах теряла она – и вновь обретала – европейскую идентичность. Тем более не имеет это смысла, что весь дальнейший ход русской истории лишь повторял то, что мы уже знаем. Ну, еще раз потеряла Россия в советские времена европейскую идентичность. И еще раз вернула ее при Ельцине (вместе с неизбежным постсоветским хаосом) и опять потеряла при Путине. Ну, какая это, в самом деле, новость для тех, кто, как мы с читателем, наблюдали такие потери и обретения на протяжении десятков поколений? Разве не достаточно этого, чтобы заключить: вездесущий сегодня упадок духа русских европейцев никак не

отличается от точно такого же настроения московитских или николаевских времен? И чтобы понять, что европейский «геном» русской культуры – неистребим?

Это, однако, слабое утешение, если вспомнить, что цивилизационная неустойчивость России предполагает постоянное присутствие патерналистского двойника европейского «генома». И пока мы не установим, откуда он, двойник этот, взялся, все тот же роковой маятник будет по-прежнему раскачивать Россию. Это, конечно, совсем другая тема. И она требует отдельного разговора. Здесь скажу лишь, что есть два кандидата на должность двойника. Первый, конечно, Орда. Эта версия всю эксплуатируется русскими националистами, опирающимися на изыскания Льва Гумилева, согласно которым никакого завоевания Руси и монгольского ига не было, а было ее «добровольное объединение с Ордой против западной агрессии». Русь таким образом, говорят они, была сначала частью «славяно-монгольской» Орды, а затем, когда Орда развалилась, попросту ее заменила. Иначе говоря, Россия *изначально* евразийская империя. И любые попытки превратить ее в нормальное европейское государство лишь искалечили бы ее «культурный код». Это объясняет, например, декларацию Михаила Леонтьева: «Русский народ в тот момент, когда он превратится в нацию, прекратит свое существование как народа и Россия прекратит свое существование как государство».

Второе объяснение двойника предложено в первом томе моей трилогии. Исходит оно из фундаментальной дихотомии политической традиции русского средневековья. Согласно этой гипотезе, опирающейся на исследования Ключевского, в древней Руси существовали два совершенно различных отношения сеньора, князя-воителя – или государства, если хотите, – к «земле» (так называлось тогда общество, отсюда Земский собор). Первым было его отношение к своим дворцовым служащим, управлявшим его вотчиной, и кабальным людям, пахавшим княжеский домен. Это было вполне патерналистское отношение хозяина к холопам. Не удивительно, что именно его отстаивал в своих посланиях Курбскому Грозный. «Все рабы и рабы и никого больше, кроме рабов», как

описывал их суть Ключевский. Отсюда и берет начало двойник – холопская традиция России.

Совсем иначе, однако, должен был относиться князь к своим вольным дружинникам, служившим ему по договору. Эти ведь могли и «отъехать» от сеньора, посмевшего обращаться с ними, как с холопами. Князя с патерналистскими склонностями по отношению в дружинникам элементарно не выживали в жестокой и перманентной междукняжеской войне. Достоинство и независимость дружинников имели, таким образом, надежное, почище золотого, обеспечение – конкурентоспособность сеньора. И это вовсе не было вольницей. У нее было правовое основание – договор, древнее право «свободного отъезда». Так выглядел исторический фундамент конституционной традиции России. Ибо что, по сути, есть конституция, если не договор между «землей» и государством? И едва примем мы это во внимание, так тотчас перестанут удивлять нас и полноформатная Конституция Михаила Салтыкова 1610 года, и послепетровские «Кондиции» 1730-го, и конституционные проекты Сперанского и декабристов в 1810-е, и все прочие конституции – вплоть до ельцинской. Они просто НЕ МОГЛИ не появиться в России.

Актуальные политические выводы, следующие из двух этих схематически очерченных выше объяснений происхождения двойника, противоположны. Первое – это приговор, не подлежащий обжалованию. А второе вполне укладывается в формулу «испорченная Европа». Причем «порча» эта не в средневековой дихотомии. Память о ней давно бы исчезла, когда бы не обратил в холопство всю страну Грозный царь и не ЗАКРЕПИЛ «порчу» в долгоиграющих институтах – фундаменталистской церкви, крепостничества, «сакрального самодержавия», политического идолопоклонства, общинного рабства, военно-имперской государственности.

История, однако, «порчу» эту снимает. Медленнее, чем нам хотелось бы, но снимает. Вот смотрите. В 1700 году исчезла фундаменталистская церковь, в 1762-м – всеобщее холопство, в 1861-м – крепостничество, в 1917-м – «сакральное самодержавие», в 1953-м – политическое идолопоклонство, в 1993-м – общинное рабство. Осталась имперская государственность.

Может ли быть сомнение, что обречена и она? В порядке дня последнее усилие европейского «гена» России.

История учит нас не впадать в отчаяние. Ни при каких обстоятельствах. Меня убедил в этом Чаадаев. Но сумел ли я, в свою очередь, убедить в этом читателя?

Приложение 3

М. Аркадьев

доктор искусствоведения, профессор
Хунанского института науки и технологии (Китай)

• ЗАМЕТКИ ПОСТОРОННЕГО ОБ ИСТОРИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ А. ЯНОВА •

Эссе Александра Янова «Зачем России Европа?» – концентрированный раствор, сгусток идей его знаменитой исторической трилогии. Этот концентрат уникален по насыщенности, ясности и обезоруживающей точности. Я не знаю (может быть, от недостаточной осведомленности) ни одного примера в мировой историографии и исторической публицистике, где бы драматическая история страны и ее истории, смысл были изложены на нескольких страницах с такой силой и полнотой. Рискну предположить, что чтение, понимание и проживание этих нескольких страниц могут оказаться во многих отношениях важнее и эффективнее изучения многих томов отечественной истории, написанных за последние полвека.

Янов уникален в том, что открыл для русского и мирового читателя совершенно новую Россию, Россию забытую, но обжигающе, обнаженно актуальную и живую. Янов нас, его читателей и собеседников, научил быть непосредственными участниками российской истории, ее осознавшими себя деятелями, причем как в самом акте понимания, так и в акте осознанного политического выбора. Понятие истории обнажается в его работе в самой своей сути – как одновременное существование нас самих в живом прошлом, полном трагических альтернатив, и как нравственный выбор, как интеллектуальное и политическое сопротивление в уже почти катастрофическом настоящем. Основная дилемма России стоит перед нами опять во всей ее очевидности и неизбежности, как она стояла в эпохи всех переломов в истории нашей страны.

Главное открытие Янова – это открытие фундаментальной и неискоренимой европейской, а именно североевропейской

идентичности России. Это открытие в своей радикальности противоречит практически всем известным отечественным и зарубежным историческим интерпретациям. Янов называет этот сложившийся в российской и зарубежной историографии с его точки зрения ложный интерпретационный консенсус «правлящим стереотипом».

Титаническая попытка разбить этот мировой стереотип, предложить историческую теорию, объясняющую все доступные нам факты, а не только тенденциозно отобранную их часть, делает Янова, по моему убеждению, самым крупным явлением отечественной историографии последнего столетия, если считать с Ключевского, что вполне естественно, учитывая признание самого автора в прямом наследовании его линии. Важнейшими фигурами этой линии являются также П. Я. Чаадаев и В. С. Соловьев.

Янов выстраивает нетривиальную двойную, и потому чрезвычайно действенную «аксиоматическую систему», которая позволяет ему последовательно расшифровать турбулентную динамику российской истории от самого ее начала вплоть до сегодняшних событий. Его история, непосредственно вовлекает нас в исторические коллизии, в реальную историческую драму. Драму, к которой мы как ныне живущая и действующая часть истории не только имеем неизбежное географическое и культурное отношение, но и которую творим в данный момент, осознанно принимая на себя альтернативы, которые всегда стояли и стоят опять перед Россией и нами – здесь и сейчас. Более того, сегодняшние предвоенные, уже, по сути, военные события оказываются непосредственным, трагическим и бесспорным экспериментальным подтверждением исторической теории Янова, первой известной мне исторической теории, оказавшейся способной совершить невозможное: точно спрогнозировать живую историю, ее динамику, структуру исторического выбора и наших исторических альтернатив. Для того чтобы понять, как это оказалось возможным, нам необходимо очертить структуру этой исторической концепции.

Первая аксиома, первый научно-исторический постулат Янова гласит, что Россия естественным образом, генетически является северо-восточной европейской страной. Это проясняется

как в процессе исследования источников, так и в постоянных, регулярно повторяющихся попытках России утвердить и восстановить свою европейскую идентичность. При всей их кровавой трагичности эти попытки оказывались неизменно успешными, и они страшно медленно, но необратимо изменяли, модернизировали российскую политическую историю.

Вторым историческим постулатом Янова является наличие второго фундаментального генома российского политического организма – генома самодержавия. Этот геном историк принципиально отличает как от восточного деспотизма, так и от классического европейского абсолютизма. Перманентная смертельная борьба этих двух геномов российской политической истории порождает совершенно особый исторический феномен, который Янов обозначает как базовую «цивилизационную неустойчивость России».

Все перепетии и всю трагическую логику этой борьбы Янов полностью и с предельной ясностью разворачивает на страницах своего эссе. Оба генома, их наличие и конфликт безусловно аргументированы приводимыми Яновым источниками, как ретроспективным, так и актуальным анализом (наличие и постоянное взаимодействие этих двух временных планов принципиально важны, в том числе методологически).

Первый геном связан не только с очевидным для всех европейским генезисом Киевско-Новгородской Руси, а с обнаружением целой потерянной эпохи, «потерянного государства» (lost state) в российской и международной исторической памяти. Речь идет о том, что Янов назвал «Европейским столетием России». Иван Третий Великий и его последователи, их далеко идущие и поразительно успешные реформы оказываются центральными персонажами этой эпохи. Эпохи забытой, вытесненной из сознания общераспространенным как в самой России, так и за рубежом удобным всем сторонам экзотическим мифом о «природном» азиатском деспотизме и тем самым о неизбежности рабства и произвола власти в России.

Характерными элементами этой эпохи, по Янову и согласно источникам, являются следующие:

Свободное, защищенное институтом Юрьева дня крестьянство, судебная реформа. Янов пишет: «Великая реформа

1550-х не только освобождала крестьян от произвола «кормленщиков», заменив его выборным местным самоуправлением и судом присяжных, но и привела, по словам одного из самых блестящих историков-шестидесятников А. И. Копанева, раскопавшего старинные провинциальные архивы, к «гигантской концентрации земель в руках богатых крестьян», принадлежащих им как аллодиум, то есть как «частная собственность, утратившая все следы феодального держания», не только пашни, огороды, сенокосы, звериные уловы и скотные дворы, но и рыбные и пушные промыслы, ремесленные мастерские и солеварни, порою, как в случае Строгановых или Амосовых, с тысячами вольнонаемных рабочих. Короче, на Руси, как в Швеции, появляется слой крестьян-собственников, более могущественных и богатых, чем помещики».

Свобода и безнаказанность публичного выражения религиозного и политического мнения, реформационное церковное движение:

«Четыре поколения нестяжателей боролись против монастырского стяжания – за церковную Реформацию. Государство, хотя и покровительствовало нестяжателям (историк русской церкви А. В. Карташев назвал это «странным либерализмом Москвы»), но в ход идейной борьбы не вмешивалось. Лидер стяжателей-иосифлян преподобный Иосиф Волоцкий мог публично проклинать государя как «неправедного властителя, дьявола и тирана», но ни один волос не упал с головы опального монаха».

Формирование классической европейской абсолютной монархии и монархической аристократии, начало аристократического парламентаризма, Земский собор.

Экономическое процветание:

«Ричард Ченслер, первый англичанин, посетивший Москву в 1553 году, нашел, что она была «в целом больше, чем Лондон с предместьями», а размах внутренней торговли поразил, как ни странно, даже англичанина. Вся территория, по которой он проехал, «изобилует маленькими деревушками, которые так полны народа, что удивительно смотреть на них. Земля вся хорошо засеяна хлебом, который жители везут в Москву в громадном количестве. Каждое утро вы можете встретить от 700

до 800 саней, едущих туда с хлебом... Иные везут хлеб в Москву, другие везут его оттуда, и среди них есть такие, что живут не меньше чем за 1000 миль". Современный немецкий историк В. Кирхнер заключил, что после завоевания Нарвы в 1558 году Русь стала главным центром балтийской торговли и одним из центров торговли мировой. Несколько сот судов грузились там ежегодно – из Гамбурга, Стокгольма, Копенгагена, Антверпена и Лондона».

Что же остановило и разрушило дотла это уверенное европейское движение России, во многом опережавшее аналогичные движения в современной ей Западной Европе, что превратило Россию буквально в пустыню спустя каких-то четверть века после невероятного экономического и социального взлета?

«По писцовым книгам 1578 года в станах Московского уезда числилось 96 % пустых земель. В Переяславль-Залесском уезде их было 70 %, в Можайском – 86. Углич, Дмитров, Новгород стояли обугленные и пустые, в Можайске было 89 % пустых домов, в Коломне – 94. Живущая пашня Новгородской земли, составлявшая в начале века 92 %, в 1580-е составляла не больше 10. Буквально на глазах одного поколения богатая процветающая Русь, один из центров мировой торговли, как слышали мы от Кирхнера, превратилась вдруг, по словам С. М. Соловьева, в “бедную, слабую, почти неизвестную” Московию, прозябающую на задворках Европы. С ней случилось что-то ужасное, сопоставимое, по мнению Н. М. Карамзина, с монгольским погромом Руси в XIII веке».

Что же именно позволило появиться такой парадигматической исторической фигуре, как Грозный? Как получилось, что он, Иоанн IV, – палач собственной страны и собственного народа (на этом диагнозе сходятся русские историки самых противоположных политических взглядов – от Карамзина и Погодина до Соловьева и Ключевского), воспользовался этим загадочным «что»? Как ему удалось совершить кровавую, безжалостную и, что гораздо важнее и страшнее, «долгоиграющую» (вплоть до нашего времени) в своей последовательной институциональности самодержавную революцию? Что позволило затем появиться у власти в России фигурам, которые

сознательно пошли по пути реставрации форм, идей и практики самодержавной революции Грозного?

Остановили Россию на ее успешном европейском пути несколько увиденных и раскрытых Яновым факторов. И это отнюдь не азиатский деспотизм, который является основным мифом русской истории, иллюзорно спасительной ложью, которую рассказывает про себя для самооправдания самодержавная (в широком смысле) официальная Россия и стилизующая ее под экзотический восточный деспотизм западная историография.

1. Наследие Орды. И не вообще, а совершенно конкретное, причем «родное», а не собственно ордынское, то, что я бы назвал *внутренней бомбой замедленного действия*, заложенной Ордой в фундамент европейской истории и европейской идентичности России. Речь идет о дарованных Ордой обширных земельных монастырских владениях русской православной церкви: «На протяжении десятилетий церковь была фаворитом завоевателей. Орда сделала ее крупнейшим в стране землевладельцем и ростовщиком. Монастыри прибрали к рукам больше трети всех пахотных земель в стране. По подсчетам историка церкви митрополита Макария за двести лет ига было основано 180 новых монастырей, построенных, по словам Б. Д. Грекова, “на боярских костях”. И ханские “ярлыки”, имевшие силу закона, были неслыханно щедры. От церкви, гласил один из них, “не надобе им дань, и тамга, и поплужное, ни ям, ни подводы, ни война, ни корм, во всех пошлинах не надобе, ни которая царева пошлина”. (...) Вы не думаете, я надеюсь, что после освобождения Руси церковь поспешила расстаться с богатствами и привилегиями, дарованными ей погаными? Что вернула она награбленное – у крестьян, у бояр? Правильно не думаете. Потому что и столетие спустя продолжали ее иерархи ссылаться на ханские “ярлыки” как на единственное законное основание своих приобретений».

2. Холопская традиция отношений между князьями и дворцовыми слугами: «Согласно этой гипотезе, опирающейся на исследования Ключевского, в древней Руси существовали два совершенно различных отношения сеньора, князя-воителя – или государства, если хотите, – к «земле» (так называлось

тогда общество, отсюда Земский собор). Первым было его отношение к своим дворцовым служащим, управлявшим его вотчиной, и кабальным людям, пахавшим княжеский домен. Это было вполне патерналистское отношение хозяина к холопам. Не удивительно, что именно его отстаивал в своих посланиях Курбскому Грозный. «Все рабы и рабы и никого больше, кроме рабов», как описывал их суть Ключевский».

Существенно, что тут же подтверждается и гипотеза о врожденной европейской идентичности российской политической истории. Одновременно с холопской традицией существовала феодальная традиция вольных дружинников, причем оформленная правовым образом:

«Князя с патерналистскими склонностями по отношению к дружинникам элементарно не выживали в жестокой и перманентной междукняжеской войне. Достоинство и независимость дружинников имели, таким образом, надежное, почище золотого, обеспечение – конкурентоспособность сеньора. И это вовсе не было вольницей. У нее было правовое основание – договор, древнее право «свободного отъезда». Так выглядел исторический фундамент конституционной традиции России. Ибо что, по сути, есть конституция, если не договор между «землей» и государством?»

Затем Янов делает вывод, который мгновенно проливает свет сразу на всю динамику, турбулентность и одновременно качественную необратимость российской истории: «едва примем мы это во внимание, так тотчас и перестанут нас удивлять и полноформатная Конституция Михаила Салтыкова 1610 года, и послепетровские «Кондиции» 1730-го, и конституционные проекты Сперанского и декабристов в 1810-е, и все прочие конституции – вплоть до ельцинской. Они просто НЕ МОГЛИ не появиться в России».

Подводя итоги обзора исторической концепции, сжато и с предельной интеллектуальной и нравственной силой изложенной Александром Яновым в своем эссе, я хотел бы сказать несколько слов от себя. Это касается той реставрации особого извода «русской идеи», которая выражена в агрессивной идеологии современного, основанного на идеях евразийства Дугина-Юрьева. С моей точки зрения, которую мне помог

полностью осознать и сформулировать Александр Янов, так называемая «русская идея» является архаизированной псевдо-идеей. И относится она не к стране в целом, которая неизбежно будет с очередными бессмысленными жертвами возвращена в мировую цивилизованную систему, а только к преступному коррупционному корпоративному государству, к чиновникам, которые готовы жертвовать своим населением для удержания власти. «Русская идея» в наше время – это разросшаяся до уровня новой евразийской опухоли идея сакрального самодержавия, изобретенная иосифлянами для сохранения дарованных Ордой земельных владений и послужившая опорой тотальному террору Грозного, предназначенному истребить европейскую Русь Ивана III. Но никогда не удавалось ей и никогда не удастся уничтожить исконно европейскую идентичность России.

Шансов повлиять на ситуацию в сторону ненасильственного развития событий у цивилизованных русских интеллектуалов ничтожно мало. И поэтому так укрепляюще и обнадеживающе звучит вывод Александра Янова, вывод, который естественно ставит нас в ситуацию как понимания, так и сознательного выбора позиции и выбора действий. Это, как открыл нам Янов, является самой сущностью истории, понятой не как удаленные от нас и потому безразличные нам факты, а как напряженное пространство реальных человеческих, то есть и политических, и нравственных альтернатив:

«В 1700 году исчезла фундаменталистская церковь,
в 1762-м – всеобщее холопство,
в 1861-м – крепостничество,
в 1917-м – «сакральное самодержавие»,
в 1953-м – политическое идолопоклонство,
в 1993-м – общинное рабство.

Осталась имперская государственность. Может ли быть сомнение, что обречена и она?».



Научно-популярное издание

Янов Александр Львович

**РУССКАЯ ИДЕЯ
От Николая I до Путина
Книга первая. 1825–1917**

Ответственный редактор — ХХХ
Верстка и дизайн — М. Ю. Щербов

Изд. лиц. ИД № ХХХ
Подписано в печать ХХХ.
Формат 84 X 108/32. Печать офсетная.
Заказ ХХХ
Тираж ХХХ экз

Издательство «Новый хронограф»